

Ильяна
СОБОЛЕВА

Книга 2

БЕШЕНЫМ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Ипящая кровь

18+

Ульяна Соболева

Бешеный. Кипящая кровь

«Автор»

2026

Соболева У.

Бешеный. Кипящая кровь / У. Соболева — «Автор», 2026

Есть такое понятие как фантомная свобода когда ты вырвалась из клетки, когда прутья остались позади, когда между тобой и тюрьмой сотни километров гор, лесов, чужих городов, но внутри, в самой сердцевине, в том месте где живет правда которую не покажешь никому ты все ещё там, все ещё заперта, все ещё слышишь его шаги за дверью и считаешь секунды до того момента когда ключ повернется в замке и он войдет, и ты не знаешь с чем с нежностью или с яростью, с поцелуем или с кулаком, потому что у монстров нет расписания, у них только настроение, а настроение меняется как ветер в горах был штиль и вдруг ураган, был свет и вдруг тьма.

© Соболева У., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	18
Глава 4	24
Глава 5	30
Глава 6	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Ульяна Соболева

Бешеный. Кипящая кровь

БЕШЕНЫЙ. КРОВЬ

Книга 2

Ульяна Соболева

Глава 1

Анастасия

Есть такое понятие как фантомная свобода – когда ты вырвалась из клетки, когда прутья остались позади, когда между тобой и тюрьмой – сотни километров гор, лесов, чужих городов, но внутри, в самой сердцевине, в том месте где живет правда которую не покажешь никому – ты все ещё там, все ещё заперта, все ещё слышишь его шаги за дверью и считаешь секунды до того момента когда ключ повернется в замке и он войдет, и ты не знаешь с чем – с нежностью или с яростью, с поцелуем или с кулаком, потому что у монстров нет расписания, у них только настроение, а настроение меняется как ветер в горах – был штиль и вдруг ураган, был свет и вдруг тьма.

Я проснулась от тошноты.

Опять.

Каждое утро одно и то же – глаза ещё закрыты, а желудок уже выворачивается наизнанку, и я скатываюсь с кровати, путаясь в простынях, бегу в ванную, падаю на колени перед унитазом, и рвет – мучительно, долго, желчью и водой, потому что вчерашний ужин давно переварился, а новая еда ещё не попала внутрь, и тело просто корчится в сухих спазмах, выталкивая из себя пустоту.

Хотя нет. Не пустоту. Его.

Ребенок внутри меня – четыре месяца, уже заметно, уже не спрячешь под свободным свитером – напоминает о себе каждое утро этим ритуалом рвоты, как будто говорит: я здесь, я существую, я часть тебя и часть того кого ты пытаешься забыть, и у тебя не получится, потому что я – живое доказательство что он был, что его руки касались твоего тела, что его кровь смешалась с твоей и создала меня, и теперь это навсегда, навечно, до самого конца.

Сажу на холодном кафеле, прислонившись спиной к стене. Дыхание рваное, во рту горечь. За маленьким окном ванной – горы, покрытые снегом, и рассвет только начинается, окрашивая вершины в розовый, почти нежный, почти красивый. Январь в горном Дагестане – это когда мир становится белым и тихим, как больничная палата, и ты лежишь в этой белизне и не знаешь – выздоравливаешь или умираешь, потому что симптомы одинаковые.

Встаю. Ноги дрожат. Подхожу к раковине, ополаскиваю лицо ледяной водой, смотрю на себя в зеркало – маленькое, треснувшее, с мутным стеклом, не чета тем огромным зеркалам в доме на Рублевке, где каждый прыщик виден, каждый синяк не спрячешь, каждая слеза отражается как в кинотеатре на большом экране.

Лицо бледное. Скулы заострились – ем мало, тошнит от всего. Волосы тусклые, собраны в небрежный хвост. Под глазами тени – не синяки, нет, те давно сошли, эти тени от бессонницы, от ночей когда лежишь с открытыми глазами и слушаешь чужую тишину чужого дома в чужих горах и думаешь о том кого нельзя думать.

Выхожу из ванной. Коридор узкий, потолки низкие – дом старый, каменный, построенный ещё дедом Магомедом, купленный через подставное лицо, незаметный, безопасный. Два этажа. Кухня, гостиная, две спальни наверху. Всё простое, грубое, настоящее – деревянная мебель, ковры на полу, запах сухих трав, которые Хадиджа, соседка-повитуха, развешивает пучками у входа «от сглаза и от дурных мыслей».

От дурных мыслей тут нужен не чабрец, а экзорцист. Или лоботомия.

Захожу на кухню. Магомед уже там – сидит за столом, пьет чай, читает что-то в телефоне (одном из трех одноразовых, которые меняет каждую неделю). Поднимает голову когда я вхожу. Улыбается – мягко, тепло, как улыбаются люди у которых совесть чиста и сердце открыто.

– Доброе утро. Опять тошнило?

Киваю. Сажусь напротив.

– Хадиджа говорит до пятого месяца может продолжаться, – он пододвигает ко мне кружку с мятным чаем, заваренным заранее, потому что знает что мне плохо по утрам и что мята помогает. – Выпей. Полегчает.

Пью маленькими глотками. Чай горячий, горьковатый, и мята холодит горло, и становится чуть легче, чуть терпимее, и я благодарна ему за этот чай, за эту заботу, за то что он каждое утро встает раньше меня и заваривает мяту и ставит кружку на стол и ждет.

Благодарна. Не больше.

Вот в чем ад – быть благодарной хорошему человеку и не мочь полюбить его, быть обязанной жизнью тому кто вытащил тебя из огня и не чувствовать ничего кроме теплой признательности, которая похожа на любовь как фонарик похож на солнце – светит, но не греет, работает, но не ослепляет, функционирует, но не сжигает.

А я привыкла гореть. Привыкла к пожару. К ожогам третьей степени на душе.

– Мария, – зовет Магомед, и я вздрагиваю, потому что до сих пор не привыкла к чужому имени, до сих пор оборачиваюсь на «Настя» и не слышу «Мария», хотя уже три месяца живу под этим именем, три месяца предъявляю поддельный паспорт в аптеке где работаю, три месяца отзываюсь на чужое имя как собака на чужую кличку. – Мария, ты слышишь?

– Да. Прости. Задумалась.

– Я говорю, что сегодня Хадиджа придет на осмотр. После обеда.

– Хорошо.

Хадиджа – местная повитуха, шестьдесят с чем-то лет, сухая, жилистая, с руками которые приняли больше детей чем я видела за четыре года медфака. Она единственная в поселке кто знает что я не жена Магомеда, что мы не супруги, что спим в разных комнатах, что он привез меня сюда не по любви а по какой-то другой, более сложной и более страшной причине. Хадиджа не спрашивает. Просто знает. Как знают старухи в горах – молча, всей кожей, всем жизненным опытом, который не почерпнешь из учебников.

Допиваю чай. Магомед убирает посуду – моет кружки, вытирает стол, двигается по кухне тихо, аккуратно, как человек который привык не занимать много пространства, не шуметь, не привлекать внимания. Десять лет рядом с Рустамом научили его быть тенью. Невидимым. Незаменимым и одновременно незаметным.

Смотрю на его спину – широкую, надежную, в простой серой футболке – и думаю: вот мужчина который ради меня предал единственного человека, которого считал братом. Который рискнул жизнью – не фигурально, буквально, потому что Рустам убивает за предательство, это не метафора, это рабочий процесс – чтобы вытащить меня из золотой клетки и привезти сюда, в каменный дом в горах, где тишина и безопасность, и мятный чай по утрам, и никто не запирает дверь на ночь.

Почему я не могу его полюбить?

Что во мне сломано настолько, что правильное, доброе, здоровое не вызывает ничего кроме теплого «спасибо», а жестокое, болезненное, разрушительное выжигает изнутри так что кости плавают?

Есть поговорка: мы любим не тех кто нас любит, а тех кто нас ломает. Красивая поговорка. Поэтическая. Когда читаешь её в книге – киваешь, мол, как точно. Когда проживаешь на собственной шкуре – хочешь найти того кто её придумал и спросить: а ты жил с этим? Ты засыпал рядом с хорошим человеком и видел во сне руки плохого? Ты ненавидел своё тело за то что оно помнит не ласку, а боль, и тянется обратно к боли как наркоман к игле?

Потому что я – тянусь.

Каждую ночь.

Каждую проклятую ночь я ложусь в постель, закрываю глаза и вижу его. Не того Рустама, который насиловал, бил, душил. Не того, который забрал меня как вещь и запер в золотой

клетке. А другого. Того, который был в ту единственную ночь когда я пришла к нему сама. Когда сказала «сегодня я, не ты». Когда его глаза – черные, мертвые, холодные глаза хищника – вдруг стали живыми, почти человеческими, почти испуганными, потому что он не знал что делать когда женщина приходит добровольно, когда не нужно брать силой, когда можно просто... быть.

Его руки. Господи, его руки. Большие, в шрамах, убийственные руки которые ломали чужие пальцы и сжимали мое горло – они тогда были другими. Нежными. Неуверенными. Как будто он впервые в жизни прикасался к женщине и боялся сломать.

Переворачиваюсь на бок, утыкаюсь лицом в подушку, и сердце колотится, и между ног пульсирует тепло, и это предательство, самое подлое предательство тела против разума, потому что разум кричит: он насильник, он убийца, он сломал тебя, он уничтожил твою жизнь – а тело отвечает: да, но помнишь как он шептал «моя Анастасия» и его голос дрожал? Помнишь как он держал тебя после, не отпуская, как тонущий держится за обломок доски? Помнишь как его сердце билось под твоей ладонью – быстро, рвано, испуганно – и ты поняла что он боится тебя больше чем ты его?

Помню. Все помню. Тело помнит каждое прикосновение, каждый шрам под пальцами, каждый стон, каждый выдох. Тело – предатель, архивариус, библиотекарь, который хранит все тома нашей больной истории и перечитывает их по ночам вслух, когда я пытаюсь забыть.

Стокгольмский синдром – красивый термин. Звучит как диагноз. Как будто можно прийти к врачу, сдать анализы, получить таблетку и вылечиться. «У вас стокгольмский синдром, принимайте по две штуки после еды, через месяц пройдет». Но не проходит. Потому что это не болезнь. Это перестройка, мутация, эволюция наоборот – когда организм адаптируется к яду и начинает нуждаться в нём. Когда чистая вода уже не утоляет жажду, потому что ты привыкла пить отравленную.

Рядом, через стену, спит Магомед. Чистая вода. Безопасность. Здоровье. Всё, о чем мечтает любая нормальная женщина. А я лежу в темноте и скучаю по яду. И ненавижу себя за это так сильно, что скулы сводит от стиснутых зубов, и ногти впиваются в ладони до полулунных ранок, и хочется содрать с себя кожу которая помнит его прикосновения, вырвать нервные окончания которые до сих пор горят в тех местах где он касался, выжечь из памяти каждую секунду с ним – и оставить только пустоту, чистую, стерильную, без боли и без желания.

Но нельзя. Потому что внутри меня – он. Маленький, растущий, живой кусок Рустама Гериева, который толкается по ночам, как будто и ему не спится, как будто и он чувствует мою тоску и отвечает на неё ударами крошечных ног по стенкам матки. Мой сын. Его сын. Наш.

Слово «наш» – самое страшное слово в русском языке. Страшнее «смерти», страшнее «никогда», страшнее «навсегда». Потому что «наш» означает связь. Неразрывную, нерасторжимую, записанную в ДНК и не подлежащую отмене никаким судом, никаким побегом, никаким расстоянием.

Я сбежала от Рустама. Но от нашего ребенка сбежать невозможно. Он всегда со мной. Внутри. И с каждым днем его становится все больше, и он все сильнее, и он все больше похож на отца – так сказала Хадиджа после последнего осмотра, пощупав живот своими сухими сильными руками: «Крупный. Активный. Боец. В отца пойдет».

Я побледнела тогда. Хадиджа заметила. Не спросила. Просто погладила меня по голове – жестом, от которого я чуть не разрыдалась, потому что так гладила мама, давно, в прошлой жизни, когда мир ещё не разлетелся на куски – и сказала тихо: «Дети не виноваты в грехах отцов. Запомни это, девочка. Кем бы ни был отец – ребенок чист. Как снег в горах. Пока не натопчут».

Утро. Работа. Аптека на единственной улице поселка – маленькая, тесная, пахнущая лекарствами и старой мебелью. Я стою за прилавком и выдаю бабушке Патимат таблетки от давления, и объясняю как принимать, и улыбаюсь, и говорю «будьте здоровы», и делаю вид

что я – Мария, приезжая жена Магомеда, фармацевт из города, тихая, скромная, беременная, нормальная.

Нормальная.

Если бы они знали. Если бы эти люди – добрые, простые, живущие по законам гор и веры – знали что «Мария» на самом деле бывшая пленница чеченского криминального авторитета, что синяки на ней не от падения а от мужских рук, что ребенок в ее животе зачат в ночь когда его отец пришел к ней после собственной свадьбы с другой женщиной, пьяный, в чужих духах, и взял её не спрашивая, потому что считал своей собственностью...

Если бы знали – что? Пожалели бы? Осудили? Прогнали?

Не знаю. И не хочу узнать.

После работы иду домой пешком – двадцать минут по узкой дороге вдоль ущелья, и горы вокруг белые, величественные, равнодушные к человеческим трагедиям, и воздух холодный, чистый, обжигает легкие, и тишина такая плотная что слышно как скрипит снег под ботинками, как ветер шевелит сухие ветки деревьев, как где-то далеко лает собака.

Красиво. Спокойно. Безопасно.

Почему же я задыхаюсь?

Почему каждый вдох этого чистого горного воздуха застревает в горле как комок, как кусок хлеба которым подавилась, как крик который не может вырваться наружу?

Потому что легкие привыкли к другому воздуху. К тяжелому, душному, пропитанному дорогим одеколоном и опасностью. К воздуху дома-крепости на Рублевке, где каждый вдох мог быть последним, где кислород смешивался со страхом и образовывал смесь, от которой кружилась голова и сердце билось быстрее, и каждая клетка тела была натянута как струна, и ты была живая – по-настоящему, остро, невыносимо живая, потому что рядом была смерть, и контраст между жизнью и смертью делал каждую секунду ценной, каждый глоток воздуха – драгоценным, каждый рассвет – подарком.

Здесь нет контраста. Здесь все дни одинаковые. Тихие. Мирные. Безопасные.

Я умираю от безопасности. Медленно, тихо, по миллиметру в день, как растение которое перенесли из теплицы в идеальные условия – солнце, вода, хорошая земля – а оно вянет, потому что привыкло к плохой почве, к дефициту, к борьбе за выживание, и без борьбы не знает зачем расти.

Прихожу домой. Магомед на кухне, готовит ужин – плов, запах специй, тепло от плиты. Оборачивается, улыбается:

– Как день?

– Нормально. Патимат приходила за таблетками. Хасан с мельницы порезал руку, я перевязала.

– Ты хорошо вписалась, – говорит он с гордостью, которая не имеет права быть его, потому что я вписалась не в его жизнь, я вписалась в декорацию, в спектакль, в роль которую играю чтобы выжить. – Люди тебя уважают. Говорят – грамотная, вежливая.

– Говорят «странная», – поправляю. – Я слышала. Аминат из булочной сказала Загидат что «русская жена Магомеда не улыбается глазами, только губами».

Магомед замолкает. Ставит тарелку на стол. Садится напротив.

– Настя...

Вздрагиваю. Он редко называет меня настоящим именем. Только когда серьезно.

– Настя, – повторяет тихо, – я знаю что тебе тяжело. Знаю что ты не счастлива. Знаю что ты здесь телом, а мыслями... – Не заканчивает. Не может. Или не хочет произносить его имя вслух, как будто имя – это заклинание, которое может вызвать демона.

– Я стараюсь, – говорю, и это правда. Я правда стараюсь. Каждый день. Каждую минуту. Стараюсь быть здесь, присутствовать, жить в этом доме, в этих горах, в этой тишине. Стараюсь не думать о нем. Не видеть во сне. Не просыпаться с его именем на языке.

– Я знаю что стараешься, – Магомед протягивает руку через стол, касается моих пальцев – осторожно, как трогают раненую птицу. – И я не тороплю. Не жду ничего. Просто хочу чтобы ты знала: я здесь. Рядом. Сколько нужно. Год, два, десять. Не уйду.

Горло сжимается. Глаза жжет. Потому что он заслуживает женщину которая скажет «и я с тобой» и будет это чувствовать, а не ту которая скажет «спасибо» и отведет взгляд, потому что в глазах – чужой мужчина, чужие руки, чужое имя которое пульсирует под кожей как второе сердце.

– Спасибо, Магомед, – шепчу. – За всё.

Он кивает. Убирает руку. Встает. Возвращается к плите.

И я смотрю в его спину – широкую, надежную, безопасную – и думаю: есть люди-дома и есть люди-пожары. Магомед – дом. Крепкий, теплый, настоящий. С ним можно жить, растить детей, стареть. А Рустам – пожар. С ним можно только гореть. И сгорать. И из пепла снова гореть.

Умные женщины выбирают дома.

Я выбрала дом. Я здесь. С Магомедом. В безопасности.

Так почему каждую ночь я горю?

Вечер. Хадиджа пришла на осмотр как обещала – села на край кровати, положила свои теплые жесткие ладони мне на живот, долго слушала, щупала, кивала. Потом посмотрела мне в глаза – внимательно, глубоко, как смотрят люди которые читают по лицам лучше чем по книгам.

– Мальчик, – подтвердила. – Крупный. Здоровый. Сердце бьется ровно. – Пауза. – Но мать его нездорова.

– Со мной все нормально, – автоматически.

– Телом – да. Душой – нет. – Она убрала руки, вытерла о фартук. – Не ешь толком. Не спишь. Бродишь по ночам – я вижу свет в окне когда встаю к коровам. Плачешь когда думаешь что никто не слышит.

Молчу. Отвожу взгляд.

– Ребенку нужна мать которая хочет жить, девочка, – сказала Хадиджа строго. – Не существовать. Не терпеть. Не пережидать. Жить. Понимаешь разницу?

– Понимаю.

– Не понимаешь. Если бы понимала – не сидела бы с таким лицом как на похоронах. – Встала, пошла к двери. Обернулась. – У каждой женщины есть история которую она несет внутри. Тяжелую, больную, невыносимую. Но ребенок не должен нести ее тоже. Ему своей хватит. Своих историй. Своих ран. Не добавляй ему твоих.

Ушла. Я сижу на кровати. Руки на животе. Ребенок толкается – сильно, требовательно, как будто подтверждает слова старухи: живи, мама. По-настоящему. Не наполовину.

Закрываю глаза. Дышу глубоко. Пытаюсь представить будущее – светлое, нормальное, безопасное. Дом в горах. Магомед. Ребенок. Тишина.

Не получается.

Потому что в каждой картинке будущего – тень. Высокая, широкоплечая, с шрамом через левую щеку. И глаза – черные, мертвые, голодные.

Его тень длиннее моей свободы. Его тень дотягивается до этих гор, до этого дома, до этой кровати. Я могу бежать на край земли – его тень будет там раньше меня.

Потому что тень живет не снаружи. Она внутри. В костях, в крови, в том месте под ребрами где раньше жило сердце, а теперь живет рана, которая затягивается днем и разрывается ночью, и из нее течет не кровь а тоска, густая, черная, ядовитая тоска по человеку которого надо ненавидеть, но не получается, потому что ненависть и любовь – это одно и то же чувство, только с разными знаками, и когда переключаешь знак – напряжение остается, ток течет в обоих направлениях, и убивает одинаково.

Ложусь. Натягиваю одеяло до подбородка. За стеной тихо – Магомед уже лег, завтра рано вставать, он работает в автосервисе с семи.

Тишина.

Горы.

Безопасность.

И я – лежу в этой безопасности, как в гробу, обитом бархатом, и смотрю в потолок, и считаю трещины на штукатурке, и ребенок толкается, и ночь длинная, и до рассвета – вечность.

Свобода пахнет горным воздухом и сосновой смолой. Но я задыхаюсь. Потому что легкие привыкли к другому воздуху – тяжелому, опасному, пропитанному его одеколоном и кровью. И я не знаю как разучиться дышать им. Не знаю как научиться дышать по-другому. Не знаю – хочу ли.

И это самое страшное.

Не то что он сделал со мной.

А то что сделал со мной я сама – когда позволила ему стать воздухом.

Глава 2

Рустам

Есть такое состояние – когда ты ещё жив, но внутри уже труп. Когда тело ходит, дышит, отдает приказы, стреляет, подписывает бумаги, пьет виски, курит сигары – а внутри, под ребрами, там где раньше что-то билось, что-то теплое и живое, теперь дыра. Не рана – рана болит, рана заживает, рана напоминает о себе и заставляет чувствовать. А дыра – это отсутствие. Пустота. Черная, холодная, бездонная. Как колодец без дна – бросаешь камень и не слышишь удара. Кричишь – эхо не возвращается. Тянешь руку – ничего не нащупываешь. Только темнота. И тишина. И понимание что сам выкопал этот колодец, сам столкнул туда всё что имело значение, сам заложил край камнями чтобы не вернуть.

Три месяца.

Девяносто два дня без неё.

Считаю. Как алкоголик считает дни трезвости – только наоборот. Каждый день – это не победа, это ещё один камень на дне колодца, ещё одна ночь без сна, ещё одна бутылка виски, ещё один рассвет который застает меня в кабинете с налитыми кровью глазами и руками которые дрожат не от слабости а от ярости, потому что я – Рустам Гериев, человек от чьего имени ссутся генералы и бледнеют прокуроры, человек который построил империю из пепла и костей – я не могу найти одну девчонку. Одну. Ёбаную. Девчонку.

И одного предателя.

Магомед. Даже имя его произносить больно – как жевать стекло, как глотать щелочь, как дышать дымом горящего дома в котором заживо сгорают всё что ты строил. Магомед – мой человек. Десять лет рядом. Мой водитель. Мой телохранитель. Мой молчаливый свидетель. Человек который видел как я убиваю, как я сплю, как я плачу в три часа ночи когда никто не видит – и молчал. Потому что так работает верность в нашем мире: ты видишь всё и не говоришь ничего. Ты – стена. Тень. Продолжение руки которой доверяешь больше чем собственной.

И эта рука вырвала из меня единственное что я...

Что я – что? Любил? Слово режет горло изнутри. Не произношу его. Никогда не произносил трезвым и осозанным. Один раз вырвалось – пьяным, в ту ночь когда она стояла передо мной и требовала отпустить, и я заорал как раненый зверь: «Женщина которую люблю!» – и слово вылетело, как пуля, и ударило нас обоих, и повисло в воздухе, и я не смог его забрать обратно.

Люблю.

Ёб твою мать. Бешеный – и любит. Звучит как анекдот. Как диагноз из психиатрической клиники. Как приговор.

Четыре часа утра. Январь. За окном – темнота и снег, тихий, равнодушный снег, который засыпает Москву, засыпает крышу моего дома-крепости, засыпает сад, фонтан, забор с камерами, мир за забором – засыпает всё, как будто хочет похоронить под собой эту ночь и этот дом и меня в нем, и я бы не возражал, честное слово, если бы снег завалил входную дверь и окна и я бы задохнулся в этом мавзолее, который раньше был домом а теперь стал склепом.

Встаю с кровати. Не спал – какой сон, хуй там, последний раз нормально спал когда она была рядом, когда её дыхание было колыбельной, когда просыпался в четыре утра и слышал как она ворочается через стену и знал: здесь, моя, никуда не делась. Теперь за стеной – Заира. Жена. Законная, с кольцом на пальце и никяхом в небесной канцелярии. Женщина которую я взял потому что тейп велел, потому что политика, потому что так надо.

Не трогал её ни разу после свадьбы. Брачная ночь была – выполнил долг, механически, как работу, как подпись на документе. С тех пор – ничего. Она спит в соседней комнате, и

иногда я слышу как она плачет тихо, в подушку, думая что стены толстые и звук не проходит. Проходит. Я слышу всё в этом доме. Каждый шорох, каждый вздох, каждую слезу. Привычка. Профессиональная деформация. Когда живешь среди хищников – спишь с одним открытым глазом и ухом к двери.

Иду по коридору. Ноги несут сами – туда, куда каждую ночь, по одному и тому же маршруту, как лунатик, как привидение, прикованное к месту где умерло. Второй этаж. Восточное крыло. Мимо закрытой двери Лали – за ней тишина, дочка спит, сегодня без припадков, редкая удача. Дальше по коридору.

Её дверь.

Комната Анастасии. Закрыта, но не заперта. Зачем запирают пустую клетку?

Открываю. Захожу.

Три месяца, а запах ещё держится. Или мне кажется. Или я сошел с ума, и обоняние рисует фантомы, как мозг ампутанта рисует фантомную руку – она чешется, болит, ты чувствуешь каждый палец, но руки нет, есть только пустота и память нервных окончаний которые отказываются забыть.

Её запах – чистый, без парфюма, просто кожа и волосы, и что-то ещё, неуловимое, не поддающееся описанию, то что делает человека не набором молекул а кем-то единственным, кем-то незаменимым, кем-то от чьего отсутствия мир теряет цвет и превращается в черно-белую фотографию на которой ты стоишь один посреди комнаты и держишь подушку на которой спала женщина, которой больше нет.

Сажусь на кровать. Простыни поменяли – Фатима, чисто плотная до маниакальности. Но подушку я запретил трогать. Подушку не менять, не стирать, не прикасаться. Фатима посмотрела на меня как на сумасшедшего, но кивнула. Она двадцать лет в этом доме. Видела и не такое.

Подушка. Прижимаю к лицу. Вдыхаю. Глубоко, жадно, как утопающий хватает воздух.

И вот оно – есть, ещё есть, слабое, почти выветрившееся, но есть: её запах. Кожа, волосы, тепло. Три месяца, а подушка всё ещё пахнет ею. Или я всё это придумываю. Или мой мозг, изголодавшийся по ней, создает галлюцинацию – обонятельную, тактильную, полную – и я верю в неё, как верят в бога те кому больше не во что верить.

Руки шарят под подушкой. Инстинктивно. Как каждую ночь. И пальцы находят то что искали – прядь волос. Длинная, светлая, шелковистая. Осталась с последней ночи когда она спала здесь. Когда я пришел после Заиры, пьяный, в чужих духах, и взял её, и она лежала мертвыми глазами, и я понял что сломал последнее что было между нами, но не остановился, потому что бешеный не останавливается, бешеный идет до конца, даже если конец – это обрыв.

Зажимаю прядь в кулаке. Сильно. До белых костяшек. До боли в пальцах. Как будто если сожму достаточно крепко – она материализуется из воздуха, из памяти, из этих стен которые помнят её крики и её шепот, её ненависть и её «да, твоя», сказанное в ту единственную ночь когда мы были не насильник и жертва, а мужчина и женщина.

Тишина. Дом молчит. Снег за окном. Темнота.

И я – один. В комнате, которая всё ещё пахнет ею. С прядью волос в кулаке. Тридцать два года. Миллиарды на счетах. Сотни людей в подчинении. Империя, построенная на крови. И ни одна из этих вещей не стоит сейчас ничего. Вообще ничего. Потому что все деньги мира не купят мне ту секунду когда она лежала на моей груди после добровольного секса и её дыхание щекотало шею, и я боялся пошевелиться чтобы не разрушить момент, потому что момент был хрупкий, как стеклянная фигурка, как первый лед на луже, как доверие девушки которая разрешила себе не бояться, хоть на час, хоть на минуту.

Я разрушил этот момент. Как разрушаю всё. Потому что разрушение – единственное что я умею. Строить – не мое. Строят архитекторы, инженеры, люди с нормальными руками и нормальным мозгом. А я – снос. Демонтаж. Взрывчатка с таймером.

Встаю. Прядь волос – в карман. Ношу с собой. Всегда. Как талисман. Как камень на шее утопленника. Как последнее доказательство что она была реальной, что я не придумал её, что где-то в этом ёбаном мире есть женщина с синими глазами, которая носит моего ребенка и ненавидит меня так сильно что сбежала за тысячу километров лишь бы не видеть мою рожу.

Моего ребенка.

Эта мысль вспыхивает каждый раз как заново. Как удар под дых. Как первый вдох после того как тебя вытащили из воды – больно, резко, обжигаяще. Она беременна. От меня. Мой ребенок растет в ней – прямо сейчас, в эту секунду, пока я стою в пустой комнате как идиот и нюхаю подушку. Мой сын или дочь. Формируются пальчики, бьется сердце, развиваются легкие. Внутри женщины которую я...

Которую я что?

Вот вопрос на миллиард. Которую я похитил, сломал, изнасиловал, полюбил, потерял. В таком порядке. Красивая биография отношений. Написать на могильном камне – плакать будет даже могильщик.

Выхожу из комнаты. Закрываю дверь. Иду вниз, в кабинет. Там – бутылка на столе, початая, вчерашняя, виски, двадцатилетний, тот самый. Наливаю. Пью. Обжигает горло, но тепла не дает – алкоголь давно перестал согревать, только оглушает на время, как анестезия перед операцией, которая не лечит а просто позволяет не орать от боли пока режут.

Телефон на столе. Три пропущенных от Адама – теперь он правая рука, после Магомед. Хороший боец, надежный. Но не Магомед. У Адама нет того тихого понимания, того молчаливого присутствия, когда человек рядом не потому что платишь, а потому что выбрал быть рядом. Адам – наемник. Верный, проверенный, но наемник. Магомед был семьей.

Был.

Набираю Адама. Гудки. Берет на втором:

– Босс.

– Что по поиску?

Пауза. Я слышу в этой паузе ответ раньше чем он произносит слова.

– Пусто. Информатор в Ростове – пустышка. Женщина на фото оказалась местной, не она. Детектив в Питере проверил три адреса – мимо. – Ещё пауза. – Рустам, Магомед знает нашу систему изнутри. Знает как мы ищем, какие каналы используем, каких людей подключаем. Он десять лет наблюдал. Он не оставит следов которые мы сможем прочитать.

– Все оставляют следы, – говорю тихо, и голос мой звучит как скрежет металла по стеклу – даже мне самому неприятно.

– Босс, может стоит...

– Что? Сдаться? Забить? Выпить за её здоровье и жить дальше? – Усмехаюсь. Звук жуткий даже для моих ушей. – Ты меня знаешь, Адам. Я не забиваю. Никогда.

– Я не про это. Я про... расширить круг. Есть люди за пределами наших обычных каналов. На Кавказе, в горах. У меня контакт в Махачкале – старый кореш, держит бензоколонку и знает всех в радиусе двухсот километров. Если Магомед повез её на юг, к своим – а это логично, он оттуда родом – мой человек может навести справки. Тихо. Без шума.

Молчу. Думаю. Логика работает даже когда всё остальное разрушено – привычка, натренированная годами, не отключается.

Магомед – чеченец, но жил в Москве с пятнадцати лет. Родственники – в Дагестане, на границе с Чечней. Горные села, где каждый знает каждого и чужака видно за километр. Если он повез её туда – спрятал у своих, в глуши, где нет камер, где полиция появляется раз в полгода, где законы пишут старейшины а не конституция.

Умный ход. Именно то что я бы сделал на его месте.

Но у каждого умного хода есть слабое звено. Магомед знает мою систему – но и я знаю его. Знаю его привычки, его слабости, его людей. Знаю что он не сможет долго без работы – руки

чешутся, голова требует занятости. Знаю что будет чинить машины – это единственное кроме охранного дела что он умеет. Знаю что она – медик, будет искать работу по специальности, потому что не может сидеть без дела, потому что в ней этот ёбанный стержень, который не дает ей просто лежать и ждать.

Аптека. Больница. Фельдшерский пункт. Вот где искать.

– Адам. Твой человек в Махачкале. Пусть проверит все аптеки, все медпункты в горных районах. Ищем молодую русскую женщину. Блондинка. Двадцать три года. Беременная.

– Беременная? – Адам удивлен. Не знал. Никто не знает. Только я.

– Да. Примерно четыре месяца. Может работать фармацевтом, медсестрой. Возможно, под чужим именем. Живет с мужчиной – чеченец, тридцать лет, крепкий, тихий. Представляются мужем и женой.

Пауза. Адам переваривает.

– Босс... ребенок...

– Мой, – обрываю. И слово это – «мой» – звучит не как констатация факта, а как рычание, как предупреждение, как красная линия которую нельзя пересекать. – Мой ребенок. В моей женщине. Которую украл мой бывший человек. И я заберу их обоих. Ребенка и её. А с Магомедом... – Сжимаю телефон так что пластик трещит. – С Магомедом разберусь когда найду.

– Понял, босс. Запускаю поиск.

Сбрасываю. Откидываюсь в кресле. Закрываю глаза.

Ребенок. Мой ребенок. Второй. У меня есть Лали – больная, хрупкая, сломанная девочка, которую я люблю так что кости трещат от этой любви, которую защищаю от всего мира, которую прячу в восточном крыле потому что в моем мире дети – мишени, и если враги узнают о слабости – ударят именно туда. Лали – мой первый ребенок. Дочь от наркоманки, рожденная с повреждениями которые не исправить, только смягчить. Дочь которую Анастасия – единственная за восемь лет – заставила улыбнуться, заговорить, потянуться к жизни.

Без Анастасии Лали угасает. Я вижу это каждый день. Вижу как тускнеют глаза, как исчезают слова, как припадки учащаются – три-четыре в неделю вместо одного-двух. Новая няня – профессионалка, дорогая, с рекомендациями из немецкой клиники – не может то что могла Настя. Потому что дело не в профессионализме. Дело в чем-то другом. В том как Настя говорила «всё хорошо, малышка» и Лали верила. В том как её руки – маленькие, нежные, руки студентки – касались дочери и дочь успокаивалась. В том что Лали впервые в жизни произнесла «Ася» – не «мама», не «папа», а «Ася» – и это слово было важнее всех слов которые я слышал за тридцать два года.

Сейчас Лали не говорит. Совсем. Замкнулась. Как раковина, которая захлопнулась и не открывается. Только ночью, во сне, когда сознание отключается и контроль слабеет – шепчет. Одно слово. Одно ёбаное слово которое ломает меня каждый раз:

«Ася».

Встаю. Наливаю ещё. Пью. Не помогает. Ничего не помогает.

Иду в восточное крыло. Набираю код. Дверь открывается бесшумно. Коридор тусклый, ночник у двери Лали. Захожу тихо. Она спит – маленькая, худая, в пижаме с мишками, рот приоткрыт, дыхание ровное. Щеки бледные, тоньше чем три месяца назад. Ест плохо. Новая няня жалуется – отказывается от каши, от супа, от всего. Только когда Фатима кормит – иногда соглашается.

Сажусь на край кровати. Беру её руку – крошечная, легкая, как засушенный цветок. Она шевелится во сне, пальчики сжимают мой палец, и что-то внутри меня – то что я считал давно мертвым – дергается, как оголенный провод, как нерв без анестезии.

Это моя дочь. Моя вина. Мой крест.

И ей нужна не я. Не деньги. Не немецкие няни и не швейцарские врачи. Ей нужна Настя. Единственная женщина которая смотрела на Лали не с жалостью и не с ужасом, а с... любовью?

Нет. С чем-то профессиональнее и одновременно теплее. С намерением. С верой что можно помочь, что не все потеряно, что эта сломанная девочка – не приговор, а задача, которую можно решить если достаточно стараться.

Настя старалась. Три недели, которые она была рядом с Лали – три недели чуда. Лали заговорила. Лали улыбнулась. Лали потянулась к жизни.

А потом Настя сбежала. Потому что я женился на другой. Потому что я пришел к ней пьяный после свадьбы и взял, как животное, как собственник, как ублюдок которым являюсь. И она ушла. С Магомедом. С моим ребенком внутри.

И забрала с собой голос моей дочери.

Наклоняюсь. Целую Лали в лоб. Она вздыхает во сне. Губы шевелятся:

– А... ся...

Зажмуриваюсь. Сжимаю зубы так что челюсть хрустит. Не заплачу. Не имею права. Монстры не плачут. Монстры – действуют.

Выхожу из комнаты. Закрываю дверь. Стою в темном коридоре и слушаю как бьется кровь в висках – тяжело, гулко, как молот по наковальне.

Есть философия которую я усвоил в пятнадцать лет, стоя над телами родителей: в этом мире берут – не просят. Ждут – слабые. Действуют – сильные. Хочешь что-то – забери. Не можешь забрать – стань сильнее. Не можешь стать сильнее – умри.

Просто. Понятно. Работает.

Работало.

Потому что сейчас я хочу одного – чтобы она вернулась. И не могу забрать. Не могу заставить. Не могу послать людей, чтобы скрутили и привезли. Могу – физически могу – но знаю, что если сделаю это снова, если опять запру в золотой клетке, если опять отберу выбор – она умрет внутри окончательно. И глаза, которые я хочу видеть каждое утро, станут стеклянными. Мертвыми. Как у тех людей, которых я убивал – в ту секунду когда жизнь уходит и остается только оболочка.

Я убивал тела. Но я не хочу убить её душу. Потому что её душа – единственное место в этом мире, где я чувствовал себя чем-то кроме монстра. Одну секунду. Одну ёбаную секунду в ту ночь когда она пришла сама и сказала «сегодня я» – я был не Рустам Гериев, криминальный босс, убийца, бешеный. Я был просто мужчина. Которого хотят. Не боятся – хотят.

И ради этой одной секунды я переверну мир.

Возвращаюсь в кабинет. Сажусь за стол. Открываю ноутбук. Карта Дагестана. Горные районы. Десятки поселков. Сотни деревень. Магомед мог спрятать её в любом.

Но я найду. Потому что знаю его. Потому что знаю её. Потому что знаю нас.

Магомед. Мой человек. Мой брат. Забрал единственное, что я не мог купить, не мог отобрать, не мог удержать силой – потому что это единственное, что имеет цену только когда отдано добровольно.

И я найду его. Не чтобы убить. Убить – слишком просто. Слишком быстро. Слишком милосердно.

Я заберу у него то что он забрал у меня. Мою женщину. Моего ребенка. Мой воздух.

А потом посмотрю как он живет без неё.

Как я живу сейчас.

Без воздуха. Без сна. Без сердцебиения.

Просто – существую. На силе воли и на ненависти к самому себе.

Потому что вот что я понял за эти три месяца, за эти девяносто два дня, за эти две тысячи с лишним часов бессонницы: самый страшный враг – не Тимур, не тейп, не полиция, не конкуренты. Самый страшный враг – это ты сам. Твои руки которые ломали когда надо было гладить. Твой голос который орал когда надо было шептать. Твоя гордость которая не позволяла сказать три ёбанных слова вслух, трезвым, глядя в глаза, без угроз.

Три слова. Восемь букв. Я люблю тебя.
Не сказал.
Теперь – некому.
Допиваю виски. Бутылка пустая. Ставлю на стол. Смотрю на карту Дагестана.
Найду. Какой бы ценой. Сколько бы времени.
А потом – скажу. Те три слова. Трезвый. В глаза. Без шантажа и без угроз.
И если она скажет «мне плевать» – приму. Впервые в жизни – приму отказ.
Или не приму.
Потому что я – бешеный. И бешеные не лечатся.
Только привыкают жить с диагнозом.

Глава 3

Анастасия

Есть такая разновидность тишины, которая не успокаивает, а сводит с ума – тишина ожидания, когда ты знаешь что где-то далеко, за горами, за сотнями километров дорог и перевалов, кто-то ищет тебя, методично, неотвратно, как лавина которая уже сорвалась с вершины и ползет вниз, пока ещё медленно, пока ещё далеко, но ты стоишь в долине и понимаешь: она придет, вопрос только когда, и эта тишина перед лавиной – самая оглушительная тишина на свете, потому что в ней живет страх, и страх этот не кричит, не визжит, не бьет по голове – он просто сидит внутри тебя, свернувшись клубком под ребрами, и ждет вместе с тобой, и дышит тебе в такт, и каждый его вдох – это твой выдох, и вы так переплетены, что уже не понимаешь где ты, а где твой страх.

Февраль.

Месяц белого цвета и черных мыслей.

Горы завалило снегом по самую макушку, и поселок стал ещё меньше, ещё теснее, как будто кто-то натянул белое одеяло на весь мир и оставил только эту горстку каменных домов, эту одну улицу, эту одну мечеть с потрескавшимся минаретом, эту одну аптеку, в которой я стою за прилавком каждый день с девяти до пяти и выдаю лекарства людям, которые не знают моего настоящего имени, не знают откуда я, не знают что под белым халатом фармацевта скрывается беглянка, пленница, вещь с оборванным ценником.

Мария. Меня зовут Мария. Мария Исаева, двадцать три года, уроженка Волгограда, замужем за Магомедом Исаевым, переехали из города ради чистого воздуха и тихой жизни. Легенда простая, дырявая, если копнуть – но никто не копает. В горах не принято лезть в чужую жизнь. Здесь спрашивают «как здоровье?» и «сколько стоит аспирин?», а не «откуда у тебя шрам на запястье?» и «почему ты кричишь во сне чужое имя?».

Работа спасает. Не от боли – от безумия. Когда руки заняты – раскладываешь таблетки по полкам, проверяешь сроки годности, считаешь капли валерьянки для бабушки Зайнаб, объясняешь молодой Айшат что антибиотики нельзя бросать на третий день даже если стало лучше – когда руки заняты, голова молчит. Или хотя бы говорит тише. Не орет. Не показывает картинки из прошлого. Не крутит на повторе ту ночь, и ту ночь, и ту.

Но стоит остановиться – хоть на минуту, хоть на вдох – и всё возвращается. Лавиной. Селем. Поток грязи, который несет обломки разрушенной жизни и бьет ими по голове: вот папа, мертвый, синий, с вывернутой шеей; вот письмо дрожащим почерком; вот черные глаза хищника; вот его руки на твоём теле; вот кровь на простыне; вот «ты моя»; вот «азиз»; вот та ночь когда ты пришла сама и сказала «сегодня я» и его лицо – растерянное, почти испуганное, почти человеческое...

Мотаю головой. Физически. Как собака которая вылезла из воды и отряхивается. Не помогает – мысли не стряхиваются, они как репей, как клещ, как пиявки на коже, присосались и пьют, пьют, пьют из меня жизнь, оставляя пустую оболочку которая ходит, работает, улыбается и называет себя Марией.

Сегодня четверг. Тихий день – посетителей мало, снег идет с утра, дороги замело, и люди сидят по домам. В аптеке пусто, только Рашид, хозяин, курит на крыльце и слушает радио, из которого доносится что-то заунывное на аварском.

Стою у окна, смотрю на улицу. Белое. Всё белое. Снег, дома, небо, земля. Как чистый лист, на котором можно написать что угодно – новую жизнь, новую историю, новое имя. Но рука не поднимается писать. Потому что чистый лист – это не свобода. Это пустота. А пустота, как я узнала за последние месяцы – это не отсутствие всего. Это присутствие ничего. И «ничего» занимает гораздо больше места чем «всё», потому что «всё» можно разложить по

полкам, по ящикам, по папкам в голове, а «ничего» – оно везде, оно заполняет каждую щель, каждую трещину, каждую паузу между вдохом и выдохом, и ты тонешь в нем как в трясине, медленно, молча, без всплеска.

Рука на животе. Привычка – класть ладонь туда, где растет он. Мой мальчик. Четыре с половиной месяца. Живот уже не спрячешь – круглый, твердый, теплый под пальцами, и внутри – жизнь, маленькая, упрямая, настойчивая жизнь, которая растет несмотря ни на что, несмотря на мои бессонные ночи, на мои слезы, на мой разбитый аппетит, на то что я забываю есть и забываю пить и забываю жить, потому что слишком занята воспоминаниями о человеке, которого надо забыть.

Хадиджа говорит: ребенок чувствует мать. Если мать в тревоге – ребенок тревожится. Если мать плачет – ребенок плачет внутри. Если мать любит – ребенок купается в этой любви как в теплой воде, и растет, и крепнет, и знает что мир снаружи – хороший, потому что мать говорит ему это каждым ударом сердца.

А что говорю ему я? Какие сигналы посылает мое сердце? Страх. Тоска. Вина. Злость. Ненависть к себе. Любовь к тому кого не должна любить. Коктейль из яда, которым я пою собственного ребенка через пуповину, через кровь, через каждую клетку тела, которое предает меня каждую ночь, вспоминая чужие руки.

Мой сын растет в отраве. И я – источник этой отравы. Не Рустам. Не клетка. Не прошлое. Я. Моя неспособность отпустить. Моя зависимость от того, что разрушило меня. Моя любовь к собственному палачу.

Есть медицинский термин – пренатальный стресс. Когда мать в хроническом стрессе во время беременности, кортизол попадает к плоду через плаценту, влияет на развитие мозга, на нервную систему, на будущее ребенка. Я знаю это. Я четыре года училась на медицинском. Я знаю цифры, знаю исследования, знаю последствия. И знаю что каждую ночь, когда лежу без сна и вижу перед глазами его лицо, мой кортизол зашкаливает, и мой сын получает дозу стресса, которую не заслужил.

Лали. Дочь Рустама. Родилась с повреждениями мозга, потому что мать кололась героином во время беременности.

А я – не колюсь. Я просто не могу забыть её отца. И мой яд – не героин, а память. Но результат может быть таким же.

Эта мысль пробивает меня насквозь – как пуля, как разряд тока, как ведро ледяной воды в лицо – и я хватаюсь за прилавок, потому что ноги подкашиваются, и в глазах темнеет, и сердце колотится так что рёбра трещат, и я думаю: хватит. Хватит, Настя. Анастасия. Мария. Как бы тебя ни звали – хватит. Ты убиваешь своего ребенка. Медленно, незаметно, через кровь. Точно так же, как Зарема убила Лали. Только твой наркотик – не игла. Твой наркотик – мужчина с шрамом на щеке и мертвыми глазами.

Завязывай.

Закрываю аптеку в пять. Рашид уходит раньше – жена заболела, надо в соседний поселок за лекарством (ирония – хозяин аптеки едет за лекарством в другую аптеку, потому что у нас нет нужного). Вешаю замок на дверь, прячу ключ под коврик, как здесь принято – никто не ворует в поселке, все свои, все на виду, украдешь – тебя вычислят за час и позор будет на весь род до седьмого колена.

Иду домой. Дорога знакомая – мимо мечети, мимо магазина Расула, мимо дома Хадиджи, откуда пахнет свежим хлебом и дровами. Снег скрипит под ботинками. Воздух колючий, чистый, морозный. Дышу глубоко – раз, два, три. Как мама учила. «Дыши, солнышко. Дыши и считай.»

Мама. Восемь лет как нет. Рак. Быстрый. Злой. Сожрал её за три месяца, оставив мне только фотографии и голос в голове, который до сих пор говорит «будь сильной» когда я готова сдаться.

Будь сильной. Хорошо, мам. Пытаюсь. Каждый день пытаюсь. Но сильная – это как? Это когда не плачешь? Я не плачу. Днем. Ночью – другое дело, но ночью никто не видит, значит не считается. Это когда не сдаешься? Я не сдаюсь. Я здесь, живая, работающая, носящая ребенка. Это когда не любишь того кого не надо? Тогда я слабая. Самая слабая женщина в этих горах. Потому что горы стоят тысячи лет и не шевелятся, а я – шатаюсь от одного воспоминания.

Поворачиваю за угол – и останавливаюсь.

Машина.

На окраине поселка, у развилки, где дорога уходит вниз к шоссе – стоит машина. Темная. Не местная. Местные ездят на старых Нивах и Уазиках, пыльных, побитых, со ржавчиной и вмятинами. Эта – другая. Большая. Внедорожник. Черный. С тонированными стеклами.

Сердце останавливается. Буквально – пропускает удар, два, три, и потом срывается в галоп, и я стою на заснеженной дороге и смотрю на эту машину, и ноги примерзают к земле, и руки леденеют, и в голове – сирена, красная тревога, воющая на всю черепную коробку: он нашел, он нашел, он нашел.

Черный внедорожник. Тонированные стекла. Как те джипы, которые стояли у моего дома в тот вечер когда папа... когда он... Как те машины, которые увезли меня на Рублевку. Как тот автомобиль, в котором Рустам сидел рядом, пахнущий одеколоном и опасностью, и говорил: «Теперь ты моя.»

Ноги двигаются сами – назад, за угол, в тень дома. Прячусь. Дышу рвано, неглубоко, руки трясутся, и я прижимаю их к животу – инстинктивно, защитить, закрыть, спрятать. Ребенок. Мой ребенок. Наш ребенок. Если Рустам нашел нас – он заберет меня. И ребенка. И Магомеда убьет. Не «может быть убьет» – убьет. Точно. Без вариантов. Потому что в его мире предательство карается смертью, а Магомед предал, и неважно что предал ради меня, ради справедливости, ради человечности – в мире Рустама нет справедливости и человечности, есть только верность и предательство, черное и белое, жизнь и смерть.

Выглядываю из-за угла. Машина стоит. Не двигается. Двигатель работает – вижу пар из выхлопной трубы. Кто-то внутри. Ждет? Наблюдает? Или просто остановился – навигатор посмотреть, в телефон позвонить, отлить на обочину?

Стою. Жду. Минута. Две. Пять. Ноги замерзают в тонких ботинках, но не ухожу. Смотрю.

Дверь машины открывается. Выходит мужчина – высокий, в куртке, борода, шапка. Незнакомый. Не из людей Рустама – тех я запомнила, каждое лицо, каждую фигуру, каждую походку, потому что когда живешь среди хищников – запоминаешь их силуэты на уровне спинного мозга. Этот – другой. Расслабленный. Озирается – не как охотник, а как турист. Достает телефон, фотографирует горы. Потом садится обратно. Машина трогается, разворачивается, уезжает вниз по дороге.

Выдыхаю. Воздух вырывается из легких судорожно, рвано, как всхлип. Ноги подкашиваются. Сажусь на корточки прямо в снег, обхватываю колени, и дрожу – не от холода, от отходняка, от адреналина который затопил тело и теперь отступает, оставляя после себя слабость, тошноту и звон в ушах.

Турист. Просто турист. Проезжий. Никто.

Но я – я уже не могу дышать нормально. Пульс двести. Руки ходуном. И ребенок внутри толкается – резко, сильно, как будто тоже испугался.

Встаю. Отряхиваю снег с колен. Иду домой – быстро, почти бегом, насколько позволяет живот.

Магомед дома. Готовит – запах мяса и специй, тепло кухни. Оборачивается когда я влезаю в дверь. Лицо мое, видимо, говорит всё – он мгновенно напрягается. Нож, которым резал лук, застывает в руке. Глаза сужаются.

– Что случилось?

– Машина, – выдыхаю. – Черная. Внедорожник. На развилке. С тонированными стеклами. Стояла минут десять, потом уехала.

Он не паникует. Не бледнеет. Просто откладывает нож, вытирает руки полотенцем, подходит к окну, смотрит.

– Номера видела?

– Нет. Далеко было.

– Кто-то выходил?

– Мужчина. Незнакомый. Фотографировал горы и уехал.

Магомед молчит. Думает. Я вижу как за его спокойным лицом работает машина – та же машина, которая десять лет обеспечивала безопасность Рустама Гериева, которая просчитывала угрозы, маршруты, пути отхода. Он не просто водитель и телохранитель. Он – стратег. Тихий, незаметный стратег, который знал о жизни Рустама больше чем сам Рустам.

– Скорее всего туристы, – говорит наконец. – Зимой сюда приезжают иногда. Горнолыжка в соседнем районе, заблудился кто-то, навигатор привел не туда.

– Но если не туристы?

Он оборачивается. Смотрит на меня – прямо, серьезно, без улыбки.

– Если не туристы – я это выясню. Сегодня. Спущусь к развилке, поговорю с Хасаном на бензоколонке, он видит все машины которые проезжают. Если они заправлялись – будут номера. Если не заправлялись – значит проездом.

– А если это он?

Слово «он» повисает в воздухе. Не произношу имени. Не нужно. Магомед знает.

– Если он – у нас есть план. Документы готовы. Деньги есть. Через два часа можем быть на границе с Грузией. – Подходит ближе. Берет мои руки – холодные, дрожащие – в свои. Теплые. Надежные. – Настя. Дыши. Он не найдет нас здесь. Я знаю его систему лучше чем он сам. Знаю как он ищет, кого подключает, какие ресурсы использует. Мы невидимы.

– Никто не невидим, – шепчу. – Ты сам говорил: у него глаза и уши везде.

– Были глаза и уши. Когда я был его глазами и ушами. Теперь я здесь, а там – Адам, который профессионал, но не знает Кавказ как я. Не знает людей. Не знает горы.

Хочу верить. Хочу так отчаянно, что желание верить становится физическим – давит на грудь, сжимает горло, выжимает из глаз слезы которые я не хочу показывать, но не могу удержать.

– Эй, – Магомед отпускает одну руку, вытирает слезу с моей щеки – большим пальцем, бережно, как вытирают дождевую каплю с лепестка. – Я обещал что защищу. И защищу. Не потому что обязан. Потому что хочу. Потому что ты и этот малыш, – касается моего живота, легко, почти невесомо, – вы мой мир теперь. Единственный мир который стоит защищать.

И в этот момент – именно в этот, когда его ладонь лежит на моем животе, когда его глаза – карие, теплые, живые – смотрят на меня с такой открытой, незащищенной нежностью, что больно дышать – именно в этот момент ребенок толкается.

Впервые.

Не те слабые трепетания, которые я чувствовала последние недели – как пузырьки, как шевеление бабочки. Нет. Это – удар. Настоящий, сильный, отчетливый удар изнутри. Маленькая нога или кулачок – бьет в стенку живота, туда, где лежит ладонь Магомеда.

Мы оба замираем.

Его глаза расширяются. Рот приоткрывается. Рука на моем животе – застывает.

– Это... он? – шепчет.

Киваю. Не могу говорить. Горло перехвачено. Глаза горят.

Ребенок толкает снова. Ещё сильнее. Как будто говорит: я здесь, я живой, я настоящий, хватит обо мне забывать.

Магомед смеется – тихо, удивленно, как ребенок который впервые увидел снег.

– Сильный. – Голос его дрожит. – Боец.

Боец.

Слово бьет меня под дых. Боец – как его отец. Крупный – как его отец. Активный – как его отец. Сильный – как его отец.

Рустам. Рустам. Рустам.

Его имя стучит в висках в такт ударам ребенка. Как будто сын приносит отца с собой – в каждом толчке, в каждом движении, в каждом напоминании что он – не только мой. Он – наш.

Магомед убирает руку. Смотрит на меня – и я вижу что он увидел. Увидел тень на моем лице. Тень, которую невозможно спрятать. Тень, которая появляется каждый раз когда что-то напоминает о Рустаме.

– Готовлю ужин, – говорит он ровно, возвращаясь к плите. – Плов. Рис уже на пару. Минут двадцать.

Просто. Буднично. Без обиды. Без вопросов.

Он знает. Конечно знает. Он десять лет наблюдал за Рустамом. Видел что тот делает с людьми. Видел что сделал со мной. И понимает – лучше чем кто-либо – что выйти из этого невозможно. Что следы Рустама на мне – не синяки которые сходят за неделю. Это ожоги. Глубокие. До кости. До мышечной памяти. До ДНК ребенка, который толкается внутри меня, несет его гены, его кровь, его черные глаза.

Ухожу к себе. Сажусь на кровать. Руки на животе.

– Привет, – шепчу ребенку. Впервые. Раньше не могла – казалось, что если заговорю с ним, если признаю его реальность, если назову его «ты» а не «оно» – то нить, которая связывает меня с Рустамом через этого ребенка, станет прочнее. Окончательнее. Неразрывнее.

Но он толкнулся. Сегодня. В ладонь Магомеда. Как будто сказал: хватит меня игнорировать. Хватит делать вид что меня нет. Я есть. Я живой. Я твой. Я его. Я наш.

– Привет, маленький, – шепчу ещё раз, и голос ломается, и слезы текут, и я не вытираю их, потому что не перед кем притворяться сильной, я одна, в маленькой комнате каменного дома в горах, с ребенком который толкается изнутри и требует чтобы его заметили.

– Прости что не разговаривала раньше. Прости что боялась. Прости что... – Не договариваю. Потому что за что ещё просить прощения? За то что зачала его не по любви а по принуждению? За то что думала избавиться? За то что каждый раз когда чувствую его движение – вижу лицо его отца и не знаю что испытывать, радость или ужас?

Он толкается снова. Мягче. Как будто отвечает: ничего, мам. Я подожду. Я терпеливый. Научусь ждать.

Как его отец. Который тоже – я уверена, я знаю, я чувствую это каждой клеткой – ждет. Где-то. В Москве. В своем доме-крепости. Перед картой, с бутылкой виски, с моей прядью волос в кулаке. Ждет и ищет.

И найдет.

Рано или поздно – найдет.

И тогда мне придется выбирать. Между безопасностью и огнем. Между домом и пожаром. Между мужчиной который любит правильно и мужчиной который любит разрушительно.

Между Магомедом и Рустамом.

Между жизнью и...

Чем? Смертью? Нет. Рустам – это не смерть. Рустам – это нечто хуже смерти и лучше жизни одновременно. Рустам – это когда ты стоишь на краю обрыва и одна нога уже в воздухе, и внизу – пропасть, и ты знаешь что разобьешься, и всё равно наклоняешься вперед, потому что секунда полета стоит целой жизни на твердой земле.

Я стояла на этом краю. Я падала. Разбилась. Собрала себя по кускам. Склеила. Убежала от обрыва на другой конец страны.

И всё равно – каждую ночь – возвращаюсь к краю.

Потому что тело помнит полет. И отказывается помнить падение.

Ложусь. Натягиваю одеяло. За стеной – звук посуды, Магомед накрывает на стол. Через десять минут позовет ужинать. Я пойду. Поем. Поблагодарю. Помою тарелки. Скажу «спокойной ночи». лягу.

И не засну.

Потому что ребенок толкается. Потому что черная машина стоит перед глазами. Потому что тишина в горах – это не покой. Это пауза перед лавиной.

И лавина – я это знаю, я это чувствую, я это чую животным инстинктом, который обострился за месяцы плена до звериной чуткости – лавина уже сорвалась. Уже ползет. Уже набирает скорость.

Он идет.

За мной.

За нами.

И единственное что я могу сделать – это дышать. Считать. Ждать.

И молиться, чтобы когда он придет – а он придет – у меня хватило сил посмотреть ему в глаза и не упасть обратно в пропасть.

Потому что падать – легко. Падать – красиво. Падать – как наркотик.

А стоять на ногах – больно. Скучно. Правильно.

И я выбираю правильно. Каждый день. Каждую минуту. Выбираю Магомеда, тишину, горы, безопасность.

Но ночью, когда разум спит, а тело бодрствует – тело выбирает другое.

Тело выбирает обрыв.

И мне нечего ему возразить.

Глава 4

Рустам

Есть такой тип людей – те, кто приходит к тебе с улыбкой и ножом одновременно, и ты видишь оба, и улыбку и нож, и всё равно садишься за стол напротив, потому что в нашем мире отказ от переговоров – это признание слабости, а слабость – это приглашение к убийству, и ты не можешь позволить себе быть убитым, не сейчас, не в этот момент, когда где-то на краю страны женщина носит твоего ребенка и думает что спаслась от тебя, хотя на самом деле спастись от меня невозможно, от меня можно только отсрочить встречу, потянуть время, надеяться на чудо, но чудес в моем мире не бывает, бывает только расчет, сила и готовность идти до конца.

Подпольное казино Тимура Кесаева. Подвал ресторана на Тверской, под слоем дорогого мрамора и хрустальных люстр – бетонные стены, приглушенный свет, запах сигарного дыма и мужского пота, три бильярдных стола, покерный зал, бар с виски по пятьдесят тысяч за бутылку. Элита московского криминала приходит сюда не играть – проигрыш здесь исчисляется не деньгами, а жизнями. Здесь решаются территории, судьбы, войны. Здесь рукопожатие стоит дороже контракта, а слово – дороже пули, потому что пулю можно извлечь, а слово, произнесенное за этим столом – никогда.

Адам за моим правым плечом. Руслан – за левым. Двое у входа. Ещё четверо в машинах на улице. Минимум охраны для встречи такого уровня – но у меня больше нет людей. Были – до Магомеда. До того как он забрал не только мою женщину, но и часть моей уверенности в людях, которую я и так собирал по крупицам двадцать лет, как скупец собирает монеты – одну к одной, проверяя на зуб.

Тимур уже здесь. Сидит за круглым столом в центре зала – невысокий, коренастый, с лицом которое кажется добрым, пока не помотришь в глаза. Глаза у Тимура как у рыбы – плоские, водянистые, без дна. Ни злости, ни радости, ни страха. Ничего. Пустота, которая не мертвая как моя, а рабочая – пустота профессионала, который убирает эмоции как ненужный инструмент перед операцией.

Его охрана – шесть человек. Два больше чем моих. Он это знает. Я это знаю. Соотношение сил – не в мою пользу. Впервые за десять лет.

Сажусь напротив. Стол между нами – дубовый, массивный, как граница между государствами. На столе – два стакана виски, бутылка, пепельница. Ритуал. Традиция. Мы не друзья и не будем ими никогда, но этикет есть этикет, и даже волки, когда встречаются на нейтральной территории, не сразу бросаются рвать друг друга.

– Рустам, – Тимур кивает. Голос мягкий, почти вкрадчивый. Как у доктора, который собирается сообщить плохой диагноз. – Давно не виделись.

– Не настолько давно чтобы я забыл твоё лицо, – отвечаю. – Или то, что ты пытался убить моих людей на Профсоюзной три недели назад.

Он усмехается. Пьет виски. Смакует.

– Бизнес. Ничего личного.

– В нашем мире всё личное, Тимур. Каждая пуля – личная. Каждый труп – личный. Ты должен это знать – ты закопал достаточно трупов чтобы понять.

– Как и ты, – парирует он, и глаза-рыбины чуть сужаются. – Может даже больше. Ты ведь в деле дольше. И жестче.

Молчу. Пью виски. Не смакую – глотаю, как лекарство. Потому что мне нужен алкоголь чтобы не перегнуть стол и не вцепиться ему в горло. Инстинкт. Животный, нерациональный. Мозг говорит: слушай, анализируй, ищи слабое место. Тело говорит: убей. Сейчас. Здесь. Пусть потом разбираются.

Но я не убиваю. Потому что мне нужно то, что он знает. Или делает вид что знает. И пока я не пойму – правда это или блеф – Тимур Кесаев будет дышать.

– Зачем позвал? – Прямо. Без прелюдий. Прелюдии – для тех кто не ценит чужое время.

Тимур откидывается на спинку стула. Вертит стакан в пальцах – толстых, коротких, но ловких. Руки убийцы. Я знаю эти руки – видел на записях что они делают с должниками.

– Предложение, – говорит он. – Мирное. Деловое. Взаимовыгодное.

– У нас нет взаимной выгоды.

– Есть. – Ставит стакан. Наклоняется вперед. – Ты теряешь позиции, Рустам. Не обижайся – это факт. Последние три месяца ты потерял два объекта, трех ключевых людей и – скажем откровенно – голову. Люди шепчутся. Говорят: Бешеный сбавил обороты. Бешеный пьет. Бешеный ищет какую-то девку вместо того чтобы заниматься делом.

Скулы каменеют. Челюсть сжимается так что зубы скрипят – звук мерзкий, как гвоздем по стеклу, слышу его внутри собственной головы.

– Кто шепчется? – Тихо. Очень тихо. Адам за спиной напрягается – знает этот тон. Тон перед выстрелом.

– Неважно кто. Важно что шепчутся. А когда люди шепчутся – они перестают бояться. А когда перестают бояться – начинают думать. А когда начинают думать – решают что можно откусить кусок от твоего пирога. – Пауза. – Я не хочу войны, Рустам. Война стоит денег. Война убивает людей. Война – это плохой бизнес. Я хочу мира.

– Какой ценой?

Он достает из внутреннего кармана пиджака лист бумаги. Разворачивает. Кладет на стол. Двигает ко мне.

Карта Москвы. Территории. Наши – красным, его – синим. На карте – красная линия, перечеркнутая синим: тридцать процентов моей территории – южные районы, три склада, два казино, автомойки, бензоколонки. Куш на сотни миллионов в год.

– Тридцать процентов, – говорю. Голос ровный, но внутри – кислота, разъедающая стенки желудка, горло, мозг. Тридцать процентов – это не «кусочек от пирога». Это ампутация. Это признание поражения. Это конец Рустама Гериева как первого лица.

– Разумная цена, – кивает Тимур. – За то что я предлагаю взамен.

– И что ты предлагаешь?

Он смотрит мне в глаза. Долго. Рыбьи глаза – плоские, нечитаемые.

– Информацию.

Тишина. Сигарный дым плывет между нами – синеватый, тяжелый, как туман на кладбище.

– Какую информацию? – Спрашиваю, хотя уже знаю ответ. Чувствую его – кожей, позвоночником, тем местом в затылке где живет чутьё, которое двадцать лет не подводило.

– Местонахождение Магомеда Исаева, – говорит Тимур, и имя Магомеда в его устах звучит как выстрел в тишине. – И женщины, которую он увез.

Мир замирает.

Звуки исчезают – музыка, голоса, звон стаканов, всё пропадает, остается только его лицо напротив, рыбьи глаза, и моя кровь которая вскипает, поднимается от живота к горлу, заливают мозг красным, и я хватаюсь за край стола – крепко, до побелевших костяшек – потому что если отпущу, руки сами потянутся к горлу этого человека.

– Ты знаешь где она? – Голос мой – чужой. Низкий. Рванный. Как звук который издает сломанный двигатель перед тем как заглохнуть навсегда.

– Возможно, – Тимур пожимает плечами. – У меня длинные руки, Рустам. Длиннее чем ты думаешь. Я начал искать Магомеда раньше тебя – ещё когда узнал что он сбежал. Не из-за девчонки – из-за принципа. Предатель на свободе – это плохой пример для других. Люди видят что можно предать и выжить – и начинают думать. А думающие люди – опасные люди.

– Не пизди, – обрываю. – Ты искал не из принципа. Ты искал потому что знал: она – моя слабость. И Магомед – ключ к этой слабости. И сейчас ты сидишь здесь, с этой ёбаной картой на столе, и торгуешь мной. Моей слабостью. Моей болью. Моей...

Не заканчиваю. Потому что следующее слово – «любовью», и я не произнесу его перед этой рыбой. Не дам ему это оружие.

Тимур поднимает руки – примирительно, показательно.

– Рустам. Я бизнесмен. Ты бизнесмен. У меня есть товар – информация. У тебя есть цена – территория. Простой обмен. Без эмоций. Без личного.

– Всё личное, – повторяю. – Особенно это.

Встаю. Стол отъезжает с грохотом, стаканы звенят. Адам и Руслан мгновенно напрягаются. Охрана Тимура – тоже. Шесть рук тянутся к шести стволам.

Тимур не шевелится. Сидит. Смотрит снизу вверх. Спокоен. Уверен в себе. Или в своих людях. Или в том что я не настолько безумен чтобы начать стрельбу в его собственном казино.

Он ошибается. Я именно настолько безумен. Но не настолько глуп.

– Подумай, – говорит он мне в спину, когда я иду к выходу. – Предложение действует неделю. Потом информация уходит другому покупателю. Или – он поднимает голос, чтобы я точно услышал, – я использую её сам. По своему усмотрению.

Останавливаюсь. Оборачиваюсь. Смотрю на него через весь зал – и в моем взгляде то, что видели последние люди перед смертью. Тот самый взгляд – пустой, мертвый, без дна. Взгляд человека, которому нечего терять.

– Тимур, – говорю тихо, и тишина в зале такая, что слышно как потрескивает лампочка в углу. – Если ты тронешь её. Если ты приблизишься к ней. Если ты даже подумаешь о том чтобы использовать её как рычаг против меня – я сожгу твой мир. Весь. До основания. До пепла. И потом приду за тобой лично. И то что я сделаю с тобой – об этом расскажут детям на ночь чтобы не баловались. Ты меня знаешь. Ты знаешь что я не блефую. И ты знаешь почему меня зовут Бешеный.

Разворачиваюсь. Ухожу. Лестница наверх, ресторан, холодный воздух улицы, снег в лицо – мелкий, колючий, злой. Сажусь в машину. Адам за рулем. Двери захлопываются.

Еду домой. Молчу. Адам молчит – видит мое лицо в зеркале заднего вида и понимает что сейчас не время для разговоров. Сейчас время для того чтобы я переварил то что услышал, не убив никого по дороге.

Тимур знает. Не блефует – слишком уверен, слишком спокоен, слишком конкретен. Он действительно нашел Магомеда раньше меня. Или нашел не Магомеда, а след – аптеку, больницу, фармацевта, ту ниточку которую я просил Адама искать. И вместо того чтобы дернуть за эту ниточку – припрятал. Для торга. Для момента когда я буду достаточно слаб чтобы торговаться.

Этот момент настал.

Я слаб. Впервые за пятнадцать лет – по-настоящему слаб. Не физически – тело работает, кулаки бьют, палец на курке не дрожит. Слаб изнутри. Там где дыра. Там где раньше была она. Там где сейчас – пустота и прядь светлых волос в кармане.

Двадцать минут до дома. Рублевка. Ворота. Камеры. Забор. Крепость, которая стала склепом.

Вхожу. Холл пуст. Темно – десять вечера, Фатима ушла к себе, Самира уехала домой. Тишина – та самая, ненавистная, от которой звенит в ушах и стены давят.

Поднимаюсь по лестнице. Иду в кабинет. Виски. Стакан. Глоток. Второй. Сажусь за стол. Карту Тимура не взял – запомнил. Тридцать процентов. Южные районы. Склады. Казино.

Цена за информацию о том где моя женщина.

Есть такое понятие в экономике – стоимость альтернативы. Что ты теряешь, выбирая одно вместо другого. Если я отдам Тимуру тридцать процентов – потеряю территорию, деньги,

репутацию. Люди увидят что Бешеный сдает позиции. Что можно давить – и он прогнется. Начнется цепная реакция – другие почувствуют слабость и полезут. Через полгода потерю ещё тридцать. Через год – всё.

Если не отдам – Тимур использует информацию сам. Найдёт её. Заберет. Или убьет. Или – хуже – будет держать как заложника и шантажировать меня до конца дней.

Два варианта. Оба – проигрыш.

Третий вариант: найти её самому. Раньше Тимура. Без его «помощи». Без торга. Своими силами.

Адам. Человек в Махачкале. Аптеки. Медпункты. Молодая русская беременная.

Время. Мне нужно время. Неделя, которую дал Тимур – это мало. Но достаточно если знать где искать.

Телефон. Набираю Адама.

– Твой человек в Махачкале. Ускорь. Мне нужен результат через пять дней. Не через неделю. Через пять дней.

– Босс, горные районы – это сотни поселков...

– Пять дней, Адам. Или я найду того кто сможет.

Сбрасываю. Наливаю ещё. Пью.

Стук в дверь кабинета. Лёгкий. Женский.

Не Фатима – Фатима стучит коротко и входит без приглашения, потому что заслужила это право двадцатью годами верности. Этот стук – осторожный, вежливый, чужой.

– Войди, – говорю.

Заира.

Стоит в дверях. Домашнее платье – длинное, закрытое, тёмно-зелёное. Волосы распущены – черные, густые, блестящие. Красивая. Объективно красивая. Двадцать шесть лет, правильные черты, тёмные глаза, фигура которую скульптор вырезал бы из мрамора и поставил в музей.

Я смотрю на неё и не чувствую ничего.

Вот что такое одержимость – она не просто привязывает тебя к одному человеку, она слепит тебя ко всем остальным. Заира стоит передо мной – живая, реальная, красивая, моя жена по закону людей и по закону Аллаха – и я вижу только одно: она не Анастасия. Не те глаза. Не тот запах. Не та дрожь в голосе когда злится. Не те руки. Не тот смех, которого я, к слову, так и не услышал ни разу, потому что заставлял её плакать, а не смеяться, ублюдок.

– Рустам, – говорит Заира, и голос ровный, контролируемый. Она готовилась к этому разговору. Репетировала. Знаю таких – тех кто проговаривает речь перед зеркалом, подбирает слова, выстраивает аргументы. Деловая женщина. Дочь уважаемого человека. Привыкла к переговорам.

– Сядь, – киваю на кресло напротив.

Не садится. Стоит. Руки сцеплены перед собой – знак контроля, знак что держит себя в узде.

– Я знаю что ты ищешь её.

Не спрашивает. Констатирует. Смотрю на неё. Молчу. Ждать буду – пока выскажется.

– Весь дом знает, – продолжает Заира, и в голосе – трещина, маленькая, едва заметная, но я слышу, потому что слышу всё. – Фатима знает. Самира знает. Охрана знает. Ты сидишь в её комнате каждую ночь. Ты не спишь. Ты пьёшь. Ты звонишь людям, которые ищут её по всей стране. – Пауза. Трещина шире. – Ты позоришь меня, Рустам. Меня. Мою семью. Наш тейп. Мой отец спрашивает – «Как муж? Счастлива?» – и я вру. Говорю «да». Улыбаюсь. А ночью лежу одна в кровати и слушаю как ты ходишь по коридору к комнате своей шлюхи и нюхаешь её подушку, и не могу заснуть, потому что унижение не даёт, потому что стыд жжёт так, что хочется содрать с себя кожу.

Молчу. Пью виски. Она стоит – прямая, красивая, гордая. И жалкая одновременно. Потому что гордость без любви – это доспехи на пустом месте, внутри – ничего, только эхо.

– Прекрати, – говорит она, и голос теперь жёстче, металлическое. – Прекрати искать. Забудь её. Она ушла. Сама. По своей воле. Значит не хочет быть с тобой. Разве этого недостаточно?

– Нет, – говорю. Одно слово. Без объяснений.

– Нет?! – Трещина превращается в разлом. Глаза блестят – слёзы? злость? – Ты женат на мне! Я твоя жена! Перед Аллахом! Перед людьми! Я жду ребенка от тебя! – обрывает сама себя. Сжимает губы. Нет. Она не ждёт ребенка. Не от меня. Потому что я не касался её после свадьбы. И мы оба знаем это. – Я могла бы ждать, – поправляется тише. – Если бы ты позволил. Если бы дал мне шанс.

– Заира.

– Что?!

– Ты получила всё что было обещано. Кольцо. Имя. Статус. Дом. Деньги. Защиту. – Встаю. Стою перед ней – выше на голову, шире в плечах, и она невольно отступает на полшага, и я вижу в её глазах искру – не страха, нет, Заира не трусиха, но инстинктивной опасности, потому что мое тело – оружие, и она это чувствует. – Любовь не была в контракте. Ты знала это когда соглашалась.

– Я думала что смогу заслужить, – шепчет она, и трещина в голосе становится пропастью, и я вижу как она борется с собой – не заплакать, не показать слабость, не дать мне удовольствие увидеть её разбитой. – Думала что если буду хорошей женой, терпеливой, послушной, красивой – ты увидишь. Меня. Не её. Меня.

Что-то дёргается внутри. Не вина – вину я чувствую только к Анастасии, только к Лали, мой резервуар вины переполнен и для Заиры места нет. Но что-то похожее на... уважение? Понимание? Она стоит передо мной – красивая, гордая, выданная замуж за человека который не может её любить, потому что все его нервные окончания, все синапсы, все ёбаные нейроны мозга замкнуты на другую женщину – и она не кричит, не бьёт посуду, не звонит отцу. Она стоит и говорит правду. В лицо. Человеку, которого все боятся.

Это требует яиц. Даже если ты женщина.

– Заира, – говорю, и голос мягче чем обычно, что удивляет меня самого. – Ты не виновата. Ни в чём. Ты хорошая женщина. Красивая. Умная. Достойная.

Надежда вспыхивает в её глазах – быстро, ярко, как спичка в темноте.

– Но я не могу, – заканчиваю, и спичка гаснет. – Не потому что ты плохая. Потому что я сломан. Внутри. Там где должна быть способность любить – дыра. И в эту дыру провалилась одна конкретная женщина. И пока она там – для других места нет. Даже для тебя.

Она смотрит на меня. Долго. Глаза сухие – не заплакала. Держится. Сильная.

– Ты не тронул меня ни разу после свадьбы, – говорит ровно. – Ни разу, Рустам. Два месяца. Я жена или мебель?

Молчу. Потому что ответ – «мебель», и это слишком жестоко даже для меня.

– Я подожду, – говорит она, и в голосе – сталь. – Потому что я терпеливая. И потому что верю: ты не найдёшь её. Или найдёшь и поймёшь что она не стоит того что ты теряешь. И тогда вернёшься. Ко мне. К нормальной жизни. К семье.

Разворачивается. Идёт к двери. Останавливается на пороге:

– Только не затягивай, Рустам. Моё терпение – не бесконечное. И мой отец не будет ждать вечно.

Уходит. Дверь закрывается мягко – без хлопка, без драмы. Заира даже уходит красиво. С достоинством. Как королева которую выгоняют из собственного дворца, но она не покажет что ей больно – скорее умрёт.

Сажусь обратно. Наливаю. Пью.

Две женщины. Одна – здесь, живая, красивая, готовая любить. Другая – где-то в горах, беременная, ненавидящая меня, сбежавшая.

И я, идиот, хочу вторую. Ту которая не хочет меня. Ту которая предпочла другого. Ту которая видит меня в кошмарах, а не в мечтах.

Есть диагноз – аддиктивное расстройство. Зависимость. Когда объект зависимости – не алкоголь, не наркотик, а человек. Когда без этого человека ты функционируешь, но не живёшь. Когда каждая клетка тела настроена на его частоту, и без этого сигнала – помехи, шум, статика, пустота.

У меня аддиктивное расстройство. Объект зависимости – Анастасия Лебедева, двадцать три года, блондинка, синие глаза, шрам на запястье, беременна, местонахождение неизвестно.

Дозировка – неограниченная. Побочные эффекты – потеря рассудка, бессонница, алкоголизм, разрушение империи, невозможность нормальных отношений с другими людьми.

Лечение – отсутствует.

Прогноз – неблагоприятный.

Смотрю в темное окно. Снег. Москва. Ночь.

Где-то – в горах, в маленьком поселке, в каменном доме – спит женщина с моим ребенком внутри. Рядом с мужчиной, который любит её правильно, мягко, без синяков и без крика.

А я сижу здесь. С бутылкой. С прядью волос в кармане. С женой за стеной, которая тоже не спит. С дочерью в восточном крыле, которая шепчет во сне чужое имя. С врагом, который знает мою слабость и ждет когда я сломаюсь.

Тимур знает. Или блефует. Но если знает – это меняет всё. Потому что Тимур не станет просто отдавать информацию. Он отдаст её в обмен на мою слабость. На тридцать процентов моей империи. На мою кровь, мой пот, мои двадцать лет в аду.

А моя слабость – девчонка с синими глазами, которая сейчас где-то прячется и думает что спаслась.

Не спаслась, азиз.

Никто не спасается от того кого носит под сердцем.

Я это знаю. Потому что ношу тебя так же. Не в животе – в груди. Там где раньше было сердце. Там где теперь – ты. Только ты.

И я найду тебя раньше Тимура.

Или умру пытаясь.

Третьего не дано.

Глава 5

Анастасия

Есть такой момент в болезни – не в самом начале, когда жар высокий и тело ломит и ты уверена что умираешь, и не в конце, когда уже выздоровела и встала на ноги, а посередине, в том странном промежутке когда температура спала, но слабость осталась, когда ты уже не при смерти, но ещё не живая, когда мир вокруг становится ватным, приглушенным, как сквозь матовое стекло, и ты ходишь по нему как призрак – видишь людей, слышишь голоса, но не можешь дотронуться, не можешь почувствовать, потому что между тобой и реальностью – тонкая пленка из боли, которая не пускает наружу и не пускает внутрь.

Я живу в этом промежутке уже пять месяцев.

Не больна. Не здорова. Не мертва. Не жива. Функционирую – как механизм, как часы с подзаводом, как заведенная кукла которая ходит, говорит, улыбается, работает, ест, спит, носит ребенка – но внутри механизма нет души, есть только шестеренки и пружины, и они крутятся, крутятся, крутятся, и однажды завод кончится и кукла остановится, и все увидят что она была неживая с самого начала.

Март в горах – это когда зима ещё не ушла, но уже готовится, когда снег начинает темнеть и оседать, когда с крыш капает днем и замерзает ночью, когда воздух пахнет не холодом а сыростью, и эта сырость пробирается под куртку, под свитер, под кожу, до самых костей, и ты мерзнешь не снаружи а изнутри, и никакой камин не согревает, никакой чай, никакие объятия.

Хотя объятий нет. Магомед не обнимает без приглашения. Не целует без разрешения. Не касается без спроса. Как будто я – экспонат в музее: смотреть можно, трогать нельзя, таблички развешены по периметру, сигнализация на каждом шагу.

Он терпелив. Так терпелив, что иногда хочется закричать: ну сделай что-нибудь! Разозлись! Ударь по столу! Потребуй! Хоть раз покажи что тебе не плевать – не вежливым «я подожду», а рычанием, хрипом, яростью, ревностью, чем угодно кроме этой бесконечной, ровной, невыносимой доброты!

А потом одергиваю себя. Потому что знаю – откуда это желание. Из клетки. Из тех ночей когда дверь открывалась и он входил – не с добротой, а с грубостью, не с терпением, а с правом собственника – и каждая клетка тела сжималась от ужаса и одновременно – от чего-то ещё, тёмного, стыдного, что я не хочу называть, потому что если назову – придется признать что сломана глубже чем думала.

Я хочу чтобы Магомед был грубым, потому что нежность меня не возбуждает. Я хочу силу, потому что мягкость кажется слабостью. Я хочу опасность, потому что безопасность – скучна.

Это не я. Это то, что он сделал со мной. Перепрошил. Переписал код. Установил новые настройки: нежность = скучно, грубость = возбуждение, страх = близость. Стокгольмский синдром – это не болезнь. Это операционная система. И я не знаю как откатить обновление.

Воскресенье. Выходной. Аптека закрыта, Рашид уехал к родственникам в Буйнакск, посёлок затих – люди молятся, готовят еду, занимаются своими делами. Магомед предлагает прогулку – по тропе вдоль ущелья, вверх, к старой сторожевой башне, которую построили предки лет триста назад и которая до сих пор стоит, потому что камень в горах вечнее людей.

Одеваемся тепло. Я в его старой куртке – моя уже не застегивается на животе, пять месяцев, он растёт, мой мальчик, растёт жадно, быстро, требовательно, как будто торопится выбраться наружу и посмотреть на мир который его мать так старательно ненавидит.

Идем по тропе. Узкая, каменистая, с одной стороны – скала, с другой – обрыв, внизу – река, бурная, мутная от весеннего таяния. Магомед идет впереди, протягивает руку на сложных

участках – я беру, опираюсь, отпускаю. Касания короткие, функциональные. Как рукопожатие с коллегой. Не больше.

Через час добираемся до башни. Старая, разрушенная наполовину, но стены толстые, метровые, и внутри – укрытие от ветра, и вид сверху – на ущелье, на посёлок внизу, на горы вокруг – дух захватывает. Вернее, должен захватывать. У нормального человека. У меня – ничего. Красиво, да. Величественно. Равнодушно.

Садимся на камни внутри башни. Магомед достает термос – горячий чай с чабрецом, бутерброды с сыром. Едим молча. Ветер воет снаружи, но здесь, за стенами, тихо.

– Настя, – говорит он.

Настоящее имя. Значит серьезно.

– Да?

Он смотрит на горы. Не на меня. Профиль – жесткий, мужской, с горбинкой на носу и щетиной которую он бреет раз в три дня. Красивый по-своему. Не той красотой, которая бьет наотмашь, ослепляет, обжигает. Красотой которая греет. Как печка в старом доме – не эффектно, но надежно.

– Ты хочешь знать почему я это сделал, – говорит он. Не спрашивает. Констатирует. – Почему предал его. Почему помог тебе сбежать. Рискнул жизнью. Всем что у меня было.

Молчу. Жду. Потому что – да, хочу. С первого дня хочу. Но не спрашивала, потому что боялась ответа. Боялась что скажет «потому что люблю тебя» – и тогда я буду обязана, буду должна, буду привязана благодарностью которая хуже цепей, потому что цепи можно сломать, а долг – никогда.

– У меня была сестра, – говорит Магомед, и голос его меняется – становится тише, глуше, как будто слова идут не из горла а из-под земли, из какого-то подвала внутри него, где он хранит то что не показывает никому. – Хадижа. Старшая. На три года старше.

Замираю. Он никогда не говорил о семье. Ни разу. За пять месяцев – ни слова. Я знала только что сирота, что Рустам подобрал его подростком. Всё.

– Красивая была, – продолжает, и усмешка на губах – горькая, кривая, как трещина на стекле. – Светлая. Веселая. Смеялась так, что соседи слышали через три дома. В селе говорили – Хадижа Исаева как солнце, где она – там тепло.

Пауза. Он пьет чай. Руки не дрожат – он вообще никогда не дрожит, внешне он как скала, но я вижу – по тому как сжимаются пальцы на термосе, по тому как желваки ходят на скулах – что внутри он не скала. Внутри он ущелье, в которое бросили камень, и камень летит, и эхо не стихает годами.

– Ей было девятнадцать когда отец выдал замуж. За Ахмеда. Из соседнего села. Хороший дом, хорошая семья, уважаемые люди. Калым заплатили достойный. Все были счастливы. Все, кроме Хадижи. Она хотела учиться. В город поехать. Врачом стать. – Смотрит на меня. – Как ты.

Горло сжимается. Не говорю ничего. Не могу.

– Ахмед оказался... – Магомед ищет слово. Не находит. Или находит, но не может произнести. – Жестоким. Бил. Систематически. Не на людях – дома, за закрытыми дверями, где никто не видит и никто не поможет. Хадижа приходила к маме – с синяками, с разбитой губой, с глазами в которых уже не было того солнца. Мама говорила: терпи, дочка. Все мужья такие. Стерпится – слюбится. Отец говорил: не позорь семью, вернись к мужу. Я... – Он замолкает. Сжимает кулак. – Мне было шестнадцать. Пацан. Я хотел пойти и убить Ахмеда. Руками. Взял нож. Мать поймала на пороге. Отобрала. Избила. Сказала: не лезь, это между мужем и женой, не твоё дело.

Ветер воет за стенами башни. Я слушаю и чувствую как мурашки ползут по позвоночнику – не от холода, от узнавания, потому что я знаю этот сюжет, я прожила этот сюжет, я – часть

этого сюжета, только в моей версии – я тоже была на краю, тоже стояла на той черте за которой нет возврата.

– Три года она терпела, – продолжает Магомед. – Три года. Тысяча дней. Я считал. Каждый день, когда видел её – всё тише, всё бледнее, всё меньше похожую на ту девочку которая смеялась так, что соседи слышали. Каждый день думал: сегодня пойду. Сегодня убью его. Сегодня спасу.

– Не пошёл?

– Не пошёл. – Голос мертвый. Плоский. Как земля на кладбище. – Потому что мать, отец, старейшины, традиции, обычаи, честь семьи – все эти ёбанные слова которые люди ставят выше человеческой жизни, выше боли, выше слёз. Не лезь. Терпи. Так принято. Так надо.

– Что случилось? – Шепчу, хотя уже знаю. Чувствую. Финал этой истории висит в воздухе как запах гари – ещё не видишь огня, но уже знаешь что горит.

– Её не стало, – говорит Магомед. Одно слово – «не стало» – а за ним целая жизнь, оборвавшаяся. Без вибрато, без надрыва, без слёз. Факт. – Не выдержала. Ушла. Ей было двадцать два. Двадцать два года, Настя. Столько же сколько тебе когда... когда он...

Не заканчивает. Не нужно. Я знаю что было мне в двадцать три – та же веревка, только другой формы: золотая клетка, шелковые простыни, и человек, который приходил ночью и забирал то, что не принадлежало ему.

Тишина. Долгая. Тяжёлая. Такая, в которой слышно как бьётся сердце – моё, его, ребенка внутри.

– Когда Рустам подобрал меня, – продолжает Магомед, – мне было пятнадцать. Родители погибли за год до этого. Бомбежка. Я жил на улице. Воровал. Дрался. Подыхал медленно. Он забрал меня. Одел. Накормил. Научил водить, стрелять, думать. Дал смысл. Дал семью. Я был ему благодарен. Был верен. Как собака хозяину.

Слово «собака» звучит без обиды. Как факт.

– Десять лет я смотрел как он живет. Как строит империю. Как убивает. Как берет что хочет. Молчал. Принимал. Потому что он спас мне жизнь и я был должен. Десять лет я отработывал долг. И думал что отработаю. Что когда-нибудь мы сравняемся и я смогу уйти. Построить свою жизнь. Нормальную.

– А потом появилась я.

– А потом появилась ты, – кивает. – И я увидел Хадижу. Снова. Живую. В тебе. Те же глаза – большие, испуганные, но не сломанные. То же упрямство – не сдаваться, даже когда всё потеряно. Та же тишина ночью – я слышал как ты плачешь за стеной, как Хадижа плакала за стеной нашего дома, когда приходила от Ахмеда.

Слёзы текут. Молча. Не вытираю. Пусть.

– И я понял, – говорит Магомед, поворачиваясь ко мне, и в глазах его – не любовь, нет, сейчас не любовь, сейчас что-то более древнее, более тяжелое, – я понял что если не сделаю ничего, если снова промолчу, если снова послушаюсь, если снова буду верным псом который смотрит как хозяин ломает женщину и молчит – то Хадижа умрёт второй раз. В тебе. И я умру третий раз – первый, когда погибли родители, второй, когда не стало Хадижи, и третий, когда я позволю этому случиться снова, имея возможность остановить.

– Ты не влюбился, – шепчу. – Тогда.

– Нет, – качает головой. – Тогда нет. Тогда я просто не мог смотреть. Физически. Желудок выворачивало. Руки сводило. Я стоял за дверью когда он... когда ночью... и слышал, и скулы трещали от стиснутых зубов, и ногти впивались в ладони, и кровь текла по пальцам, и я считал – один, два, три – как ты считаешь когда тебе страшно, только мне было не страшно, мне было стыдно, стыдно до рвоты, стыдно до того что хотелось вскрыть себе вены и истечь этим стыдом на пол.

Молчу. Не могу говорить. В горле – ком, горячий, солёный, не проглотить.

– Влюбился позже, – продолжает он, тише, почти виновато. – Когда увёз тебя. Когда увидел как ты смотришь на горы в первый раз – с удивлением, как ребенок, как будто не верила что мир бывает таким. Когда ты заснула в машине, и голова упала мне на плечо, и ты всхлипнула во сне, и я подумал: я готов умереть за то чтобы ей никогда больше не снились кошмары. – Пауза. – Вот тогда понял. Влюбился. По-настоящему. По-глупому. Безнадёжно.

– Магомед...

– Не надо, – поднимает руку. – Не надо ничего говорить. Я знаю что ты не можешь ответить тем же. Знаю почему. Знаю что внутри тебя – он. Не я. И может быть – всегда будет он. Я принимаю это. Не потому что мне плевать – мне больно, Настя, так больно что иногда ночью встаю и выхожу на мороз и стою босиком на снегу, и холод хоть немного заглушает, – а потому что любовь, настоящая, не та которая в кино, а настоящая – это когда принимаешь человека целиком, с его ранами, с его демонами, с его призраками. Даже если призрак – другой мужчина. Даже если этот мужчина – чудовище.

Смотрю на него. На этого человека, который стоит босиком на снегу посреди ночи, чтобы холодом заглушить боль любви ко мне. Который предал единственного человека, заменившего ему семью, – ради девушки, которая не может полюбить его в ответ. Который каждое утро заваривает мятный чай и не спрашивает зачем, просто ставит кружку на стол и ждет.

Есть люди, ради которых хочется стать лучше. Не ради него – ради них. Потому что они заслуживают не ту версию тебя, которая есть, а ту, которая могла бы быть, если бы тебя не сломали. Магомед заслуживает женщину, которая будет смотреть на него, а не сквозь него. Которая скажет «я тоже» и будет это чувствовать. Которая ночью будет видеть во сне его лицо, а не чужое.

Протягиваю руку. Кладу на его ладонь. Накрываю.

Он замирает. Смотрит на наши руки – его, тёмная, широкая, мозолистая, и моя, бледная, тонкая, с шрамом на запястье который белеет на холоде.

Не отдергивает. Не сжимает. Просто – держит. Позволяет мне быть рядом. Не ближе чем я готова. Не дальше чем я могу.

– Спасибо, – шепчу. – За Хадижу. За то что рассказал. За то что не позволил мне стать ею.

Он кивает. Переворачивает ладонь. Наши пальцы переплетаются – осторожно, неуверенно, как два зверя которые обнюхивают друг друга и ещё не решили – доверять или бежать.

Сидим так. Долго. В старой башне, которая стоит триста лет и видела тысячу историй, и наша – не самая страшная, не самая красивая, просто ещё одна, ещё одна история двух сломанных людей которые пытаются не порезаться об осколки друг друга.

Спускаемся в поселок к обеду. Идем рядом. Не за руки – уже отпустили, каждый в своем пространстве, но ближе чем раньше. На полшага ближе. На один разговор ближе. На одну правду ближе.

Дома – запах дыма из печки, тепло, привычный скрип половиц. Магомед уходит в авто-сервис – обещал Хасану помочь с движком старого КамАЗа. Я остаюсь одна.

Стук в дверь. Открываю – Хадиджа. Повитуха. В платке, в телогрейке, с сумкой из которой торчат пучки трав и бутылка масла.

– Осмотр, – говорит без предисловий. – Ложись.

Ложусь на кровать. Она шупает живот – привычно, уверенно, руки жесткие, как наждак, но точные. Слушает. Кивает.

– Растет хорошо. Сердце ровное. Но... – Она хмурится. – Ты худая. Слишком худая для пяти месяцев. Мало ешь?

– Стараюсь.

– Стараться мало. Надо есть. Не для себя – для него. Он берет из тебя всё – кальций, железо, белок. Если не будешь нормально питаться – кости станут как стекло, зубы посып-

лются, волосы вылезут. Видела таких. Рожают – и сами как трупы, потому что ребенок высосал всё.

Киваю. Знаю. Медицинское образование. Но знать и делать – разные вещи.

Хадиджа заканчивает осмотр. Садится на край кровати. Смотрит на меня – долго, прямо, как рентген. Потом берет мою руку. Левую. Поворачивает запястьем вверх.

Шрам.

Белый, тонкий, аккуратный. След той ночи, когда я была на самом дне. Фатима тогда успела вовремя. Но след остался. Тонкая линия на коже, как подпись под контрактом: «Я была здесь. Там, откуда не все возвращаются».

Хадиджа проводит пальцем по шраму. Медленно. Не больно – шрам давно зажил. Но прикосновение пробирает до костей, до той точки внутри где живет память о ванной комнате в доме Рустама, о той ночи на дне, о крике Фатимы: «ДУРА МАЛОЛЕТНЯЯ!»

– Давно? – Спрашивает Хадиджа.

– Четыре месяца назад. Почти пять.

– До или после беременности?

– До. В первые дни.

Она кивает. Не спрашивает от чего, от кого, зачем. Не нужно. Она видит шрам и понимает всё, потому что в горах женщины не режут себя от хорошей жизни, в горах женщины режут себя когда больше не могут нести то что на них навалили – мужа, семьи, традиции, мир который говорит «терпи» когда надо кричать «хватит».

– Тянет туда снова? – Спрашивает прямо, без обиняков. – На дно?

– Нет, – отвечаю, и это правда. Сейчас – нет. Потому что внутри – ребенок.

– Хорошо, – кивает Хадиджа. – Но я скажу тебе кое-что, девочка, и ты послушаешь, потому что я старая, и я видела много, и я не буду врать тебе красивыми словами.

Жду. Она встает. Идет к окну. Смотрит на горы.

– Я не спрашиваю от кого ты бежишь. Не мое дело. Не хочу знать. Но вижу – бежишь от чего-то тяжелого. Чего-то, что оставило следы, – кивает на мое запястье, – не только на коже. Внутри тоже. Там, куда мои руки не дотягиваются.

Молчу. Горло перехвачено.

– Ребенку нужна мать, – продолжает она, и голос жесткий, как горный камень, не жестокий, но твердый, без компромиссов. – Не тело, которое его выносит. Не функция, которая его кормит. Мать. Живая. Присутствующая. Та, которая смотрит на него и видит его, а не свои кошмары. Та, которая берет его на руки и думает о нём, а не о мужчине, который сделал этого ребенка.

Вздрагиваю. Откуда она...

– Я старая, – повторяет Хадиджа, как будто читает мысли. – Не глупая. Вижу как ты ходишь. Как смотришь в пустоту. Как плачешь ночью – думаешь не слышу? Слышу. У меня окна напротив. Каждую ночь. Тихо, как мышь. Но я слышу.

Слёзы. Опять. Проклятые, бесконечные слёзы, которые текут сами, без спроса, без разрешения, и я не могу их остановить, как не могу остановить таяние снега или течение реки.

Хадиджа оборачивается. Подходит. Садится рядом. Кладет руку мне на голову – тяжелую, жесткую, пахнущую травами и маслом. И гладит. Медленно. Как мама гладила. Как Фатима гладила в ту ночь, когда я чуть не умерла. Как женщины гладят друг друга с начала времен – молча, без слов, потому что слова бесполезны, когда боль такая что язык немеет.

– Послушай, девочка, – говорит она тихо, и голос теперь мягче, теплее, как будто горный камень нагрелся на солнце. – Я не знаю что с тобой случилось. Не знаю кто тебя сломал. Не знаю и не хочу знать. Но знаю одно: ты жива. Ты здесь. И внутри тебя – жизнь. Новая, чистая, не испорченная ещё ничьей жестокостью. И эта жизнь – это шанс. Не для тебя. Для него. Для твоего мальчика. Шанс начать с чистого листа. Без боли. Без страха. Без шрамов. – Пауза. –

Если ты дашь ему этот шанс. Если хватит сил. Если выберешь жить – по-настоящему жить, не прятаться от жизни в кошмарах – тогда всё будет хорошо. Не сразу. Не завтра. Но будет.

– А если не хватит? – Шепчу.

– Хватит, – говорит она уверенно. – Потому что я вижу тебя. Ты сильная. Сильнее чем думаешь. Сильнее чем тот кто тебя сломал. Он – сила мускулов, кулаков, страха. А ты – сила другая. Та, которая выживает. Та, которая поднимается после того как били. Та, которая носит ребенка от мучителя и не ломается, а идет дальше.

Рыдаю. В голос. Впервые за месяцы – не ночью, не в подушку, не тихо. В голос, навзрыд, некрасиво, с соплями и всхлипами, и Хадиджа держит мою голову у себя на плече, и пахнет чабрецом и дровами, и её рука гладит мои волосы, и я плачу не от боли – от облегчения, потому что кто-то наконец сказал то, что мне нужно было услышать.

Не «я люблю тебя». Не «всё будет хорошо». Не «ты справишься».

А «ты сильная». Просто – «ты сильная».

И я верю ей. Потому что она старая, и она видела много, и она не врет красивыми словами.

Хадиджа уходит через полчаса. Оставляет травы для чая, масло для живота, и тишину, в которой я сижу одна и думаю. Впервые за пять месяцев – думаю не о нём. Не о клетке. Не о прошлом.

Думаю о будущем. О мальчике который толкается внутри. О том каким он будет – с черными глазами отца и, может быть, с моей улыбкой, если я когда-нибудь вспомню как улыбаться по-настоящему. О том что он заслуживает мать, которая хочет жить.

Кладу руки на живот. Он толкается – мягко, как будто говорит: я здесь, мам. Не уходи.

– Я здесь, – шепчу ему. – Никуда не уйду. Обещаю.

Первое обещание, которое даю с тех пор как сбежала.

Первое обещание, которое собираюсь сдержать.

Не ради Магомеда. Не ради Рустама. Не ради себя.

Ради него. Маленького. Безымянного. Невинного.

Ради единственного мужчины, который любит меня безусловно, не требуя ничего взамен. Моего сына.

Глава 6

Рустам

Есть звук, от которого кровь сворачивается в жилах и превращается в лёд, мгновенно, без предупреждения – не выстрел, не взрыв, не крик умирающего на складе, который хрипит пока ты медленно вытаскиваешь нож из его почки, нет, все эти звуки я слышал сотни раз и они давно не трогают, как не трогает шум дождя или гудок автомобиля на перекрестке, привыкаешь ко всему, мозг адаптируется, защитные механизмы, нервная система притупляется – но есть один звук, к которому я не привыкну никогда, который пробивает все слои брони, все годы закалки, все километры рубцовой ткани на душе, и достаёт до того живого, раненого, кровоточащего нерва внутри меня, который я думал давно мертв.

Крик Фатимы.

Два часа ночи. Март. Я не сплю – когда я вообще последний раз спал по-человечески? – сижу в кабинете, перед ноутбуком, на экране – отчёты, цифры, переписка с Адамом, карта Дагестана с отмеченными поселками которые уже проверили и которые ещё нет, и голова гудит от виски и от мыслей которые крутятся по одному маршруту, как заевшая пластинка: где она, где она, где она...

И тут – крик.

– РУСТАМ!!! РУСТАМ, БЫСТРО!!!

Фатима не кричит. Никогда. За двадцать лет я слышал её голос повышенным дважды – когда умерла Зарема, и когда Лали впервые потеряла сознание от припадка в два года. Фатима – скала. Кремень. Женщина, которая видела трупы в этом доме и не моргнула. И если она кричит – значит...

Срываюсь с кресла. Бутылка летит на пол, виски расплескивается по паркету, плевать, бегу, босиком, по коридору, по лестнице вверх, перепрыгивая через ступеньки, и сердце – не колотится, нет, сердце долбит изнутри как кувалда по ребрам, и каждый удар – это удар страха, чистого, неразбавленного, того страха, который не чувствовал с пятнадцати лет, с ночи когда нашел тела родителей.

Восточное крыло. Код. Пальцы не попадают по кнопкам, хер, набираю снова, дверь открывается, коридор, дверь Лали, распахнута настежь, свет горит...

Вбегаю.

И мир – останавливается.

Лали на полу. Не на кровати – на полу, рядом с кроватью, видимо упала во время припадка. Тело выгнуто дугой – опистотонус, мозг подсказывает медицинский термин, который я выучил за восемь лет жизни с больным ребенком, – спина прогнута так, что затылок почти касается пяток, руки скручены, пальцы растопырены, ноги вытянуты, мышцы каменные, и всё тело трясётся – не мелко, не рябью, а крупно, мощно, как будто внутри работает отбойный молоток.

Лицо – синее. Губы – фиолетовые. Глаза закатились, видны только белки – жёлтые, с лопнувшими сосудами. Изо рта – пена, розоватая, с кровью. Прикусила язык.

– Давно?! – Ору Фатиме, падая на колени рядом с дочерью.

– Не знаю! – Фатима стоит на коленях с другой стороны, руки трясутся, лицо серое. – Пришла проверить, услышала стук – она упала с кровати – нашла так! Уже судороги! Минуты две минимум!

Два. Может три. Может больше – Фатима могла не сразу услышать, могла не сразу прибежать. При генерализованном тонико-клоническом припадке пять минут – это порог. После пяти – эпистатус. Необратимые повреждения мозга. Смерть.

Мои руки – эти руки которые убивали, ломали, душили, держали пистолет с хирургической точностью – трясутся. Трясутся как у алкоголика после запоя, как у старика с болезнью Паркинсона. Не могу унять. Не могу контролировать. Потому что на полу передо мной – не враг, не должник, не предатель. На полу – моя дочь. Шесть лет. Тринадцать килограммов. Маленькая, хрупкая, сломанная ещё до рождения девочка, которая никому не сделала зла, которая не заслужила ни одной секунды той боли, которую проживает сейчас, в эту минуту, на холодном полу, в судорогах, с кровавой пеной на губах.

– Диазепам! – Кричу.

Фатима бросается к шкафу. Аптечка – огромная, как в районной больнице, я собрал её за годы, все препараты, все дозировки, все шприцы. Фатима достает ампулу, шприц, ломает, набирает – руки дрожат, но делает, опыт, столько раз уже...

Переворачиваю Лали на бок – осторожно, придерживая голову, как учила... как учила Анастасия в тот первый раз, когда влетела в эту комнату и спасла мою дочь, пока я стоял столбом и не знал что делать. «Не засовывайте ничего в рот! Поверните на бок! Засеките время!»

Её голос в моей голове. Чёткий. Профессиональный. Спокойный посреди хаоса. Голос врача, который знает что делать, когда все вокруг забыли как дышать.

Фатима вводит диазепам. Внутримышечно – в бедро, через ткань пижамы, как учили в клинике.

Ждём.

Тридцать секунд. Судороги не ослабевают.

Минута. Тело всё ещё бьётся. Лали хрипит. Дыхание – рваное, булькающее, как будто лёгкие полны воды.

– Не помогает, – шепчет Фатима, и в голосе – ужас. – Рустам, не помогает...

Полторы минуты. Два. Судороги – те же. Тело синеет. Кислорода не хватает – мышцы в спазме, дыхательная мускулатура зажата, лёгкие не могут расправиться.

Она задыхается. Моя дочь задыхается передо мной, и я ничего не могу сделать. Ничего. Все мои миллиарды, вся моя власть, все мои люди, все мои стволы – бесполезны. Бесполезны как пригоршня песка против цунами. Деньги не лечат эпилепсию. Пули не останавливают припадки. Страх не спасает детей.

– Скорую! – Ору. – Вызывай ёбаную скорую! СЕЙЧАС!

Фатима хватает телефон. Набирает. Руки трясутся так, что роняет, поднимает, набирает снова. Говорит адрес – голос срывается.

Я держу Лали. Её голова на моих коленях. Тело бьётся, и каждый спазм проходит через меня как электрический разряд – физически, буквально, я чувствую как её мышцы каменеют и расслабляются, каменеют и расслабляются, ритмично, жестоко, как пытка, которую придумал бог для невинного ребенка и его виноватого отца.

Три минуты. Четыре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.